ИЛЬЯ МАСОДОВ

сладость губ твоих нежных

последний советский писатель

KOLONNA Publications


KOLONNA Publications

ББК 84(рос-рус) 6-44

Илья Масодов

СЛАДОСТЬ ГУБ ТВОИХ НЕЖНЫХ

Редактор: Д. Кузьмин
Руководство изданием: Д. Боченков
Макетирование, обложка: Е. Антонова

KOLONNA Publications
(ООО «Колонна пабликейшнз»),
а/я 24048, Тверь, 170024, Россия
e-mail: kolonna@kolonna.org
www.mitin.com/kolonna

ISBN 5-98144-054-6

СЛАДОСТЬ ГУБ ТВОИХ НЕЖНЫХ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕТО

Катя выжимает мокрую косу на песок. Вокруг бешено кричат чайки, бросающиеся с высоты в сверкающую солнцем рябь, словно сделанную из прозрачного металла. Катя вся покрыта стеклянными капельками морской воды, от ветра кожа её собирается мелкими пупырышками, даже тёплые лучи солнца не могут согреть выскользнувшее из другой стихии тело, пока летящий воздух не сотрёт с неё эти маленькие капельки холода. Катя знает, что можно ещё лечь в горячий песок, чтобы ветра было меньше, но ей нравится вот так стоять на открытом пляже, когда волны прибоя налетают, шипя, на берег за её спиной, уже не в силах настичь и намочить, лёгкая тошнота от длительного плаванья постепенно растворяется внутри, тело медленно высыхает, становится земным, как сухие кривые деревья на уступе, в зарослях соломенной, скрипящей кузнечиками травы, и гладкие камни, лежащие среди песка, и Марина, растянувшаяся ничком с повёрнутым вниз лицом, ноги и руки её в светлом, уже просохшем песке.

Катя подкрадывается к Марине и касается своей мокрой и холодной, как снежок, рукой её спины, где проступают на коже межи золотистых волосков.

– Катька, прекрати, – поёживается Марина, улыбаясь, как от щекотки.

Катя садится рядом с ней на песке, поджав ноги, берёт маленькую гальку и рисует её серым следом на загорелой спине Марины линию берега и стоящие на берегу ёлки.

– Ты что там рисуешь? – подозрительно спрашивает Марина, ленясь даже открыть глаза.

– Пляж, – нараспев произносит Катя, – а на пляже ёлочки растут.

– Какие ещё ёлочки?

– Густые. Зима ведь.

Обе они заливаются хохотом, Марина переворачивается на спину, обсыпая Катю песком, та прыгает на неё, холодная, как

водяной демон, садится верхом, мёрзлыми плавками на живот, Марина визжит и пытается стащить с себя Катю, облепленную песком, их весёлая яростная борьба оканчивается полным бессилием, Катя сваливается, наконец, на песок и смотрит в небесную голубизну, где есть только три облака, которые медленно плывут наискось, куда-то за пределы взгляда.

– Пойдём уже, – произносит она, часто и сладостно дыша. – Скоро полдник.

– А что сегодня на полдник? – спрашивает Марина. Катя чувствует, как рука подруги тонкой струйкой сыплет ей на живот мурашиный песок.

– Персики, – отвечает Катя, и звук этот звучит в небесной прохладе как клавиша маленького пианино. Катя опускает веки, сквозь которые ало просвечивает солнце, словно так, с закрытыми глазами, Катя пророчески видит его скорое закатное будущее, песок перестаёт сыпаться на живот.

– Последние персики. Как жалко, что завтра уезжать, – грустно вздыхает Марина.

Кате тоже не хочется уезжать, хотя она соскучилась по папе с мамой, но лето уже кончается, наступает школьная осень. Всё для них сегодня последнее: последний пляж, последний полдник, последняя игра, последний отбой. Когда это повторится?

– А на следующее лето ты приедешь? – спрашивает Катя.

– Конечно, – отвечает Марина. – Но это же ещё так не скоро... А ты?

– И я тоже. Я буду по тебе скучать.

Катя чувствует, как дыхание Марины приближается к её лицу, и мягкие губы касаются щеки. Катя открывает глаза, чтобы встретиться взглядом с подругой. Светло-голубые зрачки Марины напоминают ей небо из снов, чистое и ясное, на которое не больно смотреть, потому что на нём нет никакого солнца.

– Только приедешь, сразу напиши мне письмо, – говорит Катя.

– И ты напиши.

С холма, через который проходит колющая босые ноги веточками песчаная тропка, видно море, начинающееся из-под травы и уходящее вдаль, низкое солнце и паруса трёх яхт, тонкие белые треугольники, косо несомые ветром вдоль берега, яхты похожи на насекомых с большими крыльями, опустившихся на

воду и уже не способных больше взлететь, но Катя знает, что на самом деле они могут плыть очень далеко, даже за горизонт, и видеть далёкую землю по ту сторону моря, почему-то она давно убеждена, что на той земле не так, как здесь, там растут пальмы и спят жёлтые львы.

Катя вспоминает свои разговоры с морем, его сине-зелёную бездну, тёплый ветер, сыплющий в лицо брызги волн, а когда ныряешь, охватывает такая немота, что сердце замирает, пока глаза приближаются к колышущимся травам, где лежат раковины, и мелькают узенькие рыбки, нет ни звука, ни дыхания, и хочется побыстрее вынырнуть на свет, и хочется навсегда остаться там, у дна, по которому течёт тонкий леденящий поток глубинной воды.

– До свиданья, море, – шепчет Катя. – Я скоро снова приеду к тебе.

И ветер, который высушил на берегу с её кожи множество морских капель, уже совсем легко и незаметно выпивает теперь слезинку, потому что ему ведь всё равно, он сушит любую солёную влагу.

После вечерней игры набегавшаяся и запыхавшаяся Катя стоит под душем и распускает косу, чтобы вымыть соль из волос. Скоро начнётся ужин, все пионеры уже потянулись по розовым гравиевым дорожкам к столовой, только она одна осталась здесь, душевая, в которой обычно стоит такой гомон множества девичьих голосов, пуста. Катя моет волосы с мылом и выжимает их на рыжий кафельный пол. Прямо над ней в стене есть маленькое окошко, закрытое толстым непрозрачным стеклом, похожим на то, из которого делают тяжёлые салатницы и вазы для цветов. Сейчас оно горит светом садящегося солнца. Катя вытирается колючим полотенцем и садится на мокрую скамеечку у стены, чтобы вытереть ноги и одеться. Что-то незнакомое чудится ей в маленьком гранатовом квадрате окна, она думает, что, если открыть его, можно было бы, наверное, увидеть песчаную аллею между вечнозелёными кустами и низкими кипарисами, розовый от солнца угол спального корпуса, можно было бы почувствовать запах нагретой за день смолы и приготовленного в столовой ужина. Но это всё было бы иным, чем на самом деле, Катя не понимает, каким образом всё может быть иным, но знает, что

было бы. С виду точно таким же, но иным. Там, за окном, живёт другое время, то же солнце и те же кипарисы, тот же несмолкающий гул прибоя, всё такое же, только Кати там нет. И через несколько минут, когда она уйдёт из душевой, тот, иной мир станет медленно удаляться от неё, с каждой отметкой времени, всё дальше и дальше, и его будет уже никогда не достичь, и может, всё стало бы по-другому, если бы Катя жила там.

На ужин была творожная бабка и чай, а потом была вечерняя линейка. Катя любила линейки, особенно вечернюю, когда над бетонной площадью посередине лагеря уже сгущалась летняя ночь, ярко горели за семью кипарисами закатные облака, солнце обычно уже было там, внизу, где якобы продолжалась земля, во что Катя до сих пор не могла поверить, и в зелёном небе носились летучие мыши, шуршали сверчки по пьяняще пахнущим кустам, за которыми была стена лагеря, а за ней – выжженная солнцем трава, где живут ящерицы и чёрные жуки, а за травой – обрыв и шумящее о камень море, медленно остывающее после жаркого дня, ещё тёплое, но уже вбирающее ночную темноту и холод. Здесь, на площади, Катя всегда ощущала себя частью даже не просто выстроившегося квадратом, в четыре линии, отряда, а всей истории лагеря, она гордилась именами пионеров, высеченными на каменном обелиске в центре площади, живым движением священных красных знамён, которые ей никогда не доводилось даже потрогать рукой, она любила лица стоящих рядом с ней товарищей по звену, и лица напротив, из других звеньев, соперников по спортивным играм, но, в сущности, тоже товарищей, она улыбалась тем, кого не успела встретить за день, они улыбались в ответ, и эта бетонная земля была её землёй, эта часть огромной Родины была ей особенно дорога, потому что принадлежала именно ей, именно она была поставлена здесь, ей доверили охранять ткань священных знамён, это было очень важно, но совсем не пугало Катю, она никогда не сомневалась, что справится, потому что знамёна были здесь уже очень давно, когда её ещё даже не было на свете, и она стояла здесь не одна, ей помогут, её никогда не оставят одну.

Когда начинали бить барабаны и выносили вымпелы и знамя отряда, Катя всегда чувствовала трепет, она волновалась, словно

сейчас её вызовут к доске отвечать забытый урок. Но когда старший вожатый отряда Виталий говорил короткую речь, она понимала, что он надеется на всех стоящих тут, в том числе и на неё, и ей уже безразлично было, что придётся сделать, она выкрикивала в ответ ясным голосам девушек-вожатых: «Всегда готов!» Иногда, в минуты раздумий, Катя часто спрашивала себя, к чему она должна быть готова, наверное, к войне, она плохо понимала, чем она сможет тогда помочь, ведь она боялась крови и не смогла бы даже забинтовывать раненых, но всё равно была готова, верила, что в школе научат, как не бояться крови, ведь её многие боятся, верила, что Сталин уже придумал, как научить её быть сильной и смелой, а не хватало только этого, главное, что она готова учиться, чтобы защищать свою землю изо всех сил.

На последней линейке всё кажется Кате странным, не таким, как всегда. Лица пионеров спокойны и грустны, даже Дима Смирнов, выходящий с барабаном перед знаменем, немного бледен.

Темнеет быстрее обычного, и контуры белых рубашек вожатых покрываются серым налётом, пионерские галстуки приобретают цвет запылённых роз в придорожных садах. Небо кажется каменным и холодным, как в планетарии, куда Катю водили этой зимой со всем классом на уроке физики, только этот планетарий огромный, и на нём ещё не позажигали звёзд. Катя дополнительным усилием распрямляет ладошку, уставшую салютовать знамени, и переводит взгляд на кипарисы, чёрные, словно именно из таких кипарисов и состоят залежи хорошего советского угля, дающего ей тепло.

Виталий прощается с пионерами, его речь немного длиннее обычной, но всё равно коротка, и когда Катя кричит «Всегда готов!», на глазах у неё слёзы, от слов старшего вожатого, и оттого, что это последний день, когда кипарисы черны.

В спальне, где стоит восемь кроватей, девочки долго не могут уснуть. Шёпотом они вспоминают прошедшее лето, всё смешное и радостное, что случилось в лагере, а грустное каждая из них вспоминает про себя. Они говорят о больших играх «Зарница» в начале лета, когда все исцарапались и побили себе коленки, лазая по каменистым холмам, в лесах звали условные горны, зашифрованные послания обнаруживались в дуплах или под камнями, звено, в котором Катя служила медсестрой, высаживалось на

южное побережье острова из резиновой лодки, чтобы выйти в тыл противника, их обнаружили, ведь противник тоже был хитёр и оставил наблюдателя в кроне одинокого дерева, но они всё равно победили, потому что другое звено успело добраться до поросшего кизиловыми кустами холма, найти секретный приказ и захватить знамя. Они вспоминают свои походы, говорят о тёплой тишине горных лесов, картошке, выпеченной в обжигающей золе, песнях у высоких костров, о необитаемом острове, где стоит заброшенный маяк и под травами распадаются кирпичи непонятных построек, в которых белогвардейцы прятали сокровища барона Врангеля, о ночных плаваниях по чёрной бездне моря, полной фосфорических огней, они говорят о времени, что уже ушло и никогда не вернётся вновь, хотя каждая из них мечтает о чём-то будущем, новом и счастливом, но то, что было, уже не вернётся, и потому они клянутся, сами себе клянутся никогда не забыть.

Постепенно становится очень поздно, они по очереди умолкают, проваливаясь в сон, и Катя остаётся последней, остаётся лежать одна, распростёршись голая под простынёй, она слушает дыхание спящих подруг и монотонный шум моря за раскрытым окном, потом она поворачивается набок, сгибает ноги в коленях, захватывая ими плотную полосу простыни, и начинает заниматься тем, чем нельзя. Она смотрит в окно, чтобы видеть звёзды, ярко мерцающие в абсолютной темноте, пахнет пряной травой и кипарисовой смолой, ей становится жарко и хорошо, как походной ночью, возле костра, к которому она вытягивает свои босые ноги, специально чтобы показать незнакомому существу, что она его совсем не боится, искры летят вроссыпь, уносятся вверх, к черноте, как будто поднимается из муравейника крылатый рой, сосновые стволы пожелтели от пламени, и лица, такие знакомые и красивые, выступают из темноты, особенно лицо Марины, ведь она видела её каждый день, неужели она такая красивая?

Везде, по всему лесу пылают пионерские костры, жаркие, улетающие ввысь, звучат детскими голосами песни, так что даже из далёкой Москвы, из Катиного дома, слышно их, видны молодые золотистые ели огня, и папа видит их, и мама, и Сталин, стоя у окна своего кабинета с трубкой в руке, он не спит сейчас, Сталин, он тоже слушает пионерскую песню, и ему радостно, что

он победит, что бы ни случилось, он победит, потому что тысячи тысяч встанут за его спиной. Катя глубже засовывает в себя пальцы, прижимая колени к груди, она вся горит пламенем этих высоких костров, уже не может больше смотреть в окно и закрывает глаза. Прижав свободную руку кулачком ко рту, Катя покусывает костяшки согнутых пальцев и сосёт их губами, она задыхается, задыхается, и вот короткое, мучительное счастье входит в неё, она чуть не вскрикивает, стиснув ногами влажную от пота простынь, и вцепляется зубами в бок подушки, и дрожит, и дрожит, пока Сталин смотрит на высокие костры и не замечает её, одну, маленькую, беззаветно любящую его, но опять сделавшую в темноте то, что нельзя.

Намаявшись, Катя стягивает с себя ногами простыню и некоторое время неподвижно лежит, не закрывая глаз, пытаясь высохнуть от пота. Спящие девочки посапывают вразнобой, наполняя темноту теплом своего дыхания, и Катя никак не может остыть. Россыпи звёзд, как снежные заносы, лежат в небесной черноте. В ночной дали течёт тёмная горная река, неся оборванные веточки и сосновые шишки. Стены спальни, где лежит Катя, прошиты толстыми золотыми нитями, какие иногда непонятным волшебством вкладывают в прозрачные ёлочные шары.

Наконец, она заворачивается во влажноватую ещё ткань и смыкает веки. Где-то там, за широкой полосой беспамятства, она снова начинает видеть и различает стены ванной комнаты у себя дома, в Москве, только комната почему-то стала значительно больше, и вместо лампочки над дверью горит самый настоящий фонарь. Фонарь большой, как на проспекте, но освещает он только сам себя, в остальном пространстве ванной угадываются только смутные очертания предметов. Катя сидит голая на табуретке у стены, так что фонарь светит на неё слева. Сначала она просто сидит, потом понимает, что за противоположной стеной кто-то ходит, она слышит его дыхание и хруст, с которым он трётся о стену, сухой хруст растираемого кирпича. Кате становится очень страшно, она обхватывает саму себя руками и чувствует ладонями холодную, маслянистую влагу на своей коже. Потом она замечает, что в стене, возле правого угла, есть маленькая дверь. Шаги по ту сторону стены приближаются к двери, замирают, но потом снова удаляются влево. Может быть, по ту сторону стены

нет двери? Шаги приближаются снова, и дверь вдруг отворяется, словно от сквозняка. За ней темнота. Кате негде спрятаться, потому что в комнате, где она сидит, нет ничего, кроме табуретки. И вовсе это не ванная комната её квартиры, она точно знает, что за большой дверью, под фонарём, находится травяной газон, страшный яблоневый сад, который снился ей в детстве. И она вспоминает, кто стоит за стеной. Это девочка из сада.

Катя просыпается в ранних сумерках, она дрожит, лицо её покрыто холодным потом. Она поворачивает голову и видит спокойно спящее лицо Наташи на койке напротив. Лицо у Наташи округлое, ресницы длинные, рот приоткрыт для дыхания. Кате становится легче, она вытирает краем простыни пот со своего лица, скользя взглядом по свежеокрашенным стенам и покрытому светло-серыми тенями отсыревающих мест потолку. Ветер с моря вносит в окно запах водорослей и гниющих на берегу ракушек. Катя не хочет, но накрывает рот простынёй и тихо шепчет:

– Ты теперь снова будешь сниться, девочка из сада?

Когда краешки облака, лежащего на небе, становятся золотыми, Катя аккуратно прибирает постель, заправляя простыню под матрац, куски железной сетки, из которой состоит дно кровати, колют ей пальцы. Взбив подушку и уложив её на установленное порядком место, Катя удовлетворённо улыбается, надо же, как она научилась хорошо прибирать постель за время пребывания в лагере, вот мама удивится. Причесавшись, Катя начинает собирать свои вещи, вынимая их из тумбочки и складывая в походный мешок. Последней остаётся красивая рыжая раковина с розовыми внутренними стенками, которую Катя нашла на морском дне недалеко от берега и хочет подарить маме. Прежде чем засунуть раковину в мешок, Катя ещё раз заглядывает внутрь, где таится непроницаемый мрак, и, хотя там очень мало места, всё равно может оказаться, что кто-то ещё живёт в глубине раковины, слушая её морской шум. Катя прикладывает раковину к уху и тоже слушает. Ей хочется скорее в Москву, к маме, чтобы и она быстрее смогла услышать шум свободного моря.

Автобус едет пожелтевшей от жаркого солнца крымской степью, горы медленно поворачиваются по сторонам дороги, нехотя отступая назад, солнце печёт сквозь потёртые занавесочки на окнах, но пионерам весело, они играют в слова, рассказывают

истории и смеются, обмениваются адресами, а водитель автобуса, длинный человек в светлой рубахе, которого Катя никогда раньше не видела, напевает трудно различимые из-за шума мотора песни, оборачивается в салон, лукаво прищурившись и подмигивая кому-нибудь, кто встретит его взгляд, а иногда, когда за его спиной раздастся взрыв смеха, тоже громко захохочет, закинув голову назад, обернётся, глянет весело и снова хохочет, закидывая голову, такой весёлый человек.

И всё-таки, когда автобус приезжает на вокзал, Катя с облегчением выходит в отбрасываемую зданием тень, уж очень жарко было в железном теле машины. У Марины есть деньги, и она покупает для себя и Кати по стакану ситро. На здании вокзала висит плакат, призывающий успешно завершить пятилетку, на нём изображены смеющиеся юноша и девушка, приложившие руки козырьком к глазам, чтобы, не жмурясь, смотреть на встающее прямо перед ними солнце коммунизма. И в это время, когда Катя ещё пьёт из запотевшего стакана, прикладывая кончик языка к щемящим от холода зубам, к девочкам подходит человек в рубашке с коротким рукавом, от которого пахнет бензином и нагретой дублёной кожей.

– Кто из вас Котова Катя? – спрашивает человек, потирая ладонью загорелый затылок. Ещё не получив ответа, он уже смотрит Кате в глаза, словно проверяет пионерок на честность. Взгляд у него светлый и спокойный, как леденящее рот ситро.

– Я, – отвечает Катя.

– Я из милиции. Ты можешь нам очень помочь, Катя. Поговорим?

– Но у меня же скоро поезд, в Москву.

– Ничего, не бойся, посадим тебя на поезд, – человек улыбается, чуть сощуривая глаза. – Ты уж извини, срочное дело. А подружка пусть пока тебе место займёт, потому что разговор у нас будет секретный.

Марина понимающе кивает, но всё-таки заметно по самой её удаляющейся фигурке, что девочка немного обижена недоверием правительственного человека. Она уходит по солнечной пыльной улице, встречаясь с прохожими, которые закрывают её телами, как быстрая вода закрывает полузатопленный плывущий предмет, иногда она вновь появляется в поле зрения, всё дальше и дальше, пока не сворачивает за угол. Так Катя остаётся одна.

Человек со спокойными глазами не торопится. Он покупает себе тоже стакан ситро и выпивает его залпом, вытирает рукой губы, вынимает из кармана штанов пачку папирос, засовывает одну из них, белую, как морская чайка, в зубы, зажигает спичку и прикуривает, внимательно и как-то немного насмешливо глядя на Катю. Она сразу вспоминает, откуда ей знаком этот взгляд, – с портрета Ленина, висящего у них в школе, в красном уголке, и она проникается уважением к незнакомому человеку, научившемуся у Ленина правильно смотреть на всё вокруг.

– Что, Катя, – говорит, наконец, человек. – Разговор у нас очень серьёзный. Ни в какую Москву ты не поедешь.

Катя слушает его молча, но на глаза у неё сразу после этих слов наворачивается какая-то покорная грусть, будто она заранее предвидела свою судьбу.

– Почему? – задаёт вместо неё вопрос человек, вынимая папиросу изо рта и спокойно выпуская дым. – Потому что ехать тебе там уже некуда. Твоих родителей забрали в НКВД, они оказались врагами народа. Твой отец крал и портил на заводе чертежи, а мать помогала ему перечерчивать их неверно. Теперь чертежи попали к империалистам, и они опередили нас в создании передового оборудования. Конечно, у твоих родителей на заводе было много сообщников. Сейчас разбираются, где надо, и всех предателей найдут, и будут судить. Ты бывала у них на заводе?

– Да, – тихо говорит Катя. Она всё ещё не может осознать услышанное, мысли отказываются приближаться к словам чужого человека.

– Много раз?

Катя кивает. Ей вдруг хочется заплакать, она сама ещё не знает, почему.

– Ничего подозрительного не замечала?

Катя мнёт губы, опуская глаза вниз, пытаясь остановить слёзы.

– Ладно, мы поговорим потом, сейчас это не так важно. Я не из милиции, я тоже из НКВД. Мне поручили отвезти тебя в детский дом, где ты теперь будешь жить. А родителей своих, мой тебе совет, постарайся забыть, и как можно быстрее. Воспоминания о них будут только мешать тебе расти честной пионеркой, верной своей Родине и Коммунистической Партии. У тебя ведь есть Настоящий Отец. Знаешь, кто он?

– Да, – кивает Катя. Одна слеза срывается и капает на белый металлический столик на одной ноге, куда уже много раз капало ситро, где ползают ищущие малой сладости мухи. Столик расплывается перед Катиными глазами, горло её сжимает, словно там что-то застряло.

– Вот и молодец, – говорит человек. – В детском доме ты увидишь, что ты не одна, уже очень много таких детей, которые вынуждены расти без родителей, но ты всё равно вырастешь, станешь честной и умной, и ты не повторишь ошибок, которые совершили твои отец и мать. Не повторишь?

– Нет, – мотает головой Катя, больше всего думая о том, как не дать человеку с ленинским взглядом заметить свои слёзы. Ей нестерпимо стыдно, что она плачет, когда надо собраться и посмотреть в глаза своей беде.

– Отлично, – выпускает дым человек. – Тогда поехали. На машине каталась? Вижу, что не каталась. Сейчас прокатишься. И выше нос, пионерка Котова, вся жизнь ещё впереди!

В детском доме очень светло, потому что во всех комнатах большие, ничем не занавешенные окна, днём через них видно сухую ровную степь, а ночью – засыпанную звёздами черноту неба. Катю определяют жить в просторной комнате, вместе с четырьмя другими девочками, но она не хочет их знать и целый день лежит на своей кровати, глядя в шершавый потолок или закрыв глаза, и только ночью поворачивает лицо к окну и смотрит наружу, в чёрную степь, уже совершенно не веря, что где-то, далеко отсюда, существует её родная Москва, с фонарями и трамваями, с многоголосыми толпами у стадионов, с празднично-красными стенами и башнями Кремля. Катина кровать стоит у самого окна, но открывать его ночью запрещено, только маленькую форточку наверху, и в эту форточку входит аромат прощающихся с летом полей.

Утром, когда солнца ещё нет, Катя встаёт с кровати и глядит в окно, на спящую траву, над которой уже порхает капустница, проснувшаяся ещё раньше Кати, она не знает бело-зелёных стен, пустого детдомовского коридора, где пахнет штукатуркой и дверной краской, она с волнением находит свой воздушный путь под прохладной лазурью неба, на горизонте которого повисли светло-розовые облака, Кате хочется быть вот такой

маленькой, но летучей, чтобы унестись в степь и жить там, среди сухой травы и цветов, однако, подумав, Катя всё же жалеет капустницу, потому что та совсем одна и скоро умрёт от холода приближающейся осени. Она будит свою соседку, курчавую загорелую девочку, спавшую на собственной длинной ладони, та просыпается и удивляется Катиному лицу, в нём есть теперь что-то необычное, такое, чего не замечаешь обычно в человеке.

– Как тебя зовут? – спрашивает Катя.

– Вера, – отвечает проснувшаяся девочка, вынимает руку из-под щеки и трёт себе ладонью нос.

– А меня – Катя, – говорит Катя и, закинув ноги обратно на кровать, ложится, накрывшись простынью до подбородка.

– А чего ты проснулась?

– А я и не спала.

– Всю ночь?

– Всю ночь.

– И не хочется?

– Не-а.

Вера немного думает над Катиными словами, а потом снова засыпает, дыхание её становится ровнее, и Катя понимает, что это будет теперь её подруга.

Днём она показывает Вере ракушку, которую хотела подарить маме, и даёт послушать, как шумит в ней штормящее море. За это Вера ведёт её в степь, в русло пересохшего канала, где неистово трещат соломенные кузнечики и едкий запах сухих трав отбирает всё дыхание, Вера садится на колени и собирает костёр на обугленном месте, поджигает сухие стебли спичкой, а Катя тоже садится рядом и глядит на её исписанные засохшей грязью сапоги, поджатые один к другому, потом они ложатся просто на землю, головами к огню, и неспешно курят маленькие самокрутки, которые сделала Вера из горьких сухих листьев, она собрала их некогда в глубине степи и принесла с собой, Вера укладывает их сперва в носовой платок и с шорохом мнёт руками, чтобы они превратились в порошок, а потом аккуратно заворачивает в газетные полосочки, они курят, затягиваясь неглубоко, дым не едок, и даже Кате, которая никогда ничего не курила, не хочется кашлять, только жжёт горло, они курят, и над их волосами пылает прозрачный огонь, степной ветер сечёт сухую траву у самых губ, солнце качается в небе, как плавучая стеклянная лампа, и Кате

становится хорошо, так хорошо, будто она всю жизнь жила так, небо опускается ей к лицу, от него веет холодом, солнечный свет слепит глаза, душные прохладные облака протекают сквозь неё, она, не вставая, может идти по ним, потому что земля стала стеной, она идёт и встречает белые горы, огромные, каких не бывает на земле, и белые долины, по которым текут синие разломы рек, и реки эти очень глубоки, если провалишься в одну из них, то упадёшь вниз, в них не вода, а пустота забвения, это реки смерти. Но если стать на колени и держаться руками за белый берег, можно увидеть внизу землю, полную зелёных садов и пёстрых домиков, жёлтых дорог и цветущих маковых лугов сна. Вера спердова взвизгивает от разверзшейся под ними глубины, но Катя говорит ей, чтобы не боялась, они проплывают сейчас над будущей Москвой, сплошь заросшей алыми маками, и среди них идёт в белом кителе огромный человек, это товарищ Сталин. Он наклоняется и вглядывается в поднявшиеся из живой земли цветы, гонимые ветром под самые стены Кремля, он улыбается, потому что в стране его мир, и над маковым морем встали уже серебристые эстакады высотных дорог, по которым несутся вдаль поезда, и сверкающие самолёты мерно проходят в небе, между Катей и Сталиным, как пароходы, которым не нужно спешить, потому что они знают настоящую цену времени. Товарищ Сталин поднимает голову, острые его глаза видят Катю за тысячи вёрст высоты, он смеётся ей и машет рукой, и Катя понимает: она оказалась здесь, в недостижимости, только благодаря Сталину, труду советского народа, трогательная любовь наполняет её сердце, она плачет от счастья, ей так радостно, что больше совсем нечего уже желать, и хочется жить так и дальше, бесконечно, чтобы делать мир лучше и лучше, краше и краше, потому что найден путь и остаётся только идти по нему, всем вместе, и нет этому пути конца.

Они с Верой не разговаривают потом, они и так всё понимают, лёжа в высохшем русле старой реки, которая была здесь тогда, когда их ещё нигде не было. Перед уходом Вера гасит руками тлеющие остатки костра.

А ночью, в темноте глухого сна, куда она проваливается, не успев задуматься о светящихся пунктах звёзд за ровным оконным стеклом, Катя выходит из дома в незнакомую степь и идёт по ней, не зная куда, ей кажется, что лежащая в небе бетонным шаром луна зовёт её в своё таинственное место, степь поглощает её, теряя

под ногами путь, отбирая всякое понятие о сторонах света, утопив в себе все ориентиры, только звёзды светят над головой, но по ним отыскивать направление Катя не умеет. Она видит белый пятиэтажный дом в ночи, одиноко стоящий посреди высоких трав, перед ним висит, качаясь на ветру, фонарь, стоит лавочка, и на ней сидят её отец и мать. Они сидят, обнявшись, в свете покинутого фонаря, их лиц не различить во тьме, ветер сплетает длинные волосы матери, относя их вверх, словно ветер этот дует прямо из земли. Катя подходит к родителям, садится рядом с отцом, он обнимает её рукой, она ждёт, что он назовёт её сейчас Катюшкой или зайчиком, но он молчит, качается фонарь, ветер несёт невесть откуда взявшиеся листья тополей по невесть кем проложенным посреди степи каменным плитам, и в небе ходит выщербленная серыми оспинами луна, и оспины её похожи для Кати на соски, словно луна – это каменное вымя, потерянное в светящихся цветочках огромного чёрного луга.

– Зачем вы, папа, зачем? – спрашивает шёпотом Катя, вглядываясь в белёсое от фонарного света лицо отца, но глаз его различить не может, они скрыты под тенями впадин лица.

– Ты потом поймёшь, – грустно отвечает отец. Катя не может узнать его голос, так он изменился. Она протягивает руку, чтобы потрогать мать, та не смотрит на неё, опустив лицо, ноги её одеты в тонкие чулки и туфли-лодочки, какие мать носила обычно осенью. Отец целует Катю в волосы, губы его изгибаются, и она различает, как что-то проблескивает между ними, тонким золотом. Он гладит дочь ладонью по голове.

– В лагере было хорошо, было весело, – говорит Катя, ей нужно что-то сказать им. Отец кивает, проводя ладонью по её голове, мать убирает залепившие лицо волосы рукой, продолжая глядеть на свои ноги.

– Почему ты такая грустная, мама? – спрашивает её Катя. Мать молчит, качается фонарь, шуршат по плитам тополиные листья, чёрные и непоседливые, как стайки мышат. – Мама, – шепчет Катя. – Это ты, мама?

День за днём они уходят в поле, лежат в травяной балке и курят горький дым, тихо затягиваясь, их плотные, полубесчувственные губы выпускают его в воздух, и он выходит легко, так и не дав себя погубить, он летит дальше, словно у него ещё много впереди подобных встреч. Они лежат в сухой траве, в треске

кузнечиков, в бегущих водах ветра, лёгкие степные осы пролетают над их лицами, и солнце разгорается до такой чистоты, что становится очень светло, и маленькие тела девочек отрываются от земли, чтобы снова очутиться в будущем, и только тогда Катя чувствует себя свободной от гнетущих сумерек прошлого, от туманного сияния фонарей и двух молчаливых фигур на лавочке возле незнакомого дома в полях. Она мало вспоминает своих родителей, но только там, на белой земле облаков, ей становится по-настоящему легко и весело, она точно знает: это потому, что их там уже нет, там, в бездне сияющего солнца, их нет, они забыты, смыты ветром в ветряную пропасть, рассыпались в сухую пыль, добрую тёплую пыль, из которой вырастут цветы, и будет не жалко того, кто исчез уже навсегда.

Так проходит несколько дней, и наступает сентябрь. В детском доме начинаются школьные занятия. Письму и истории детей учит молодая комсомолка Саша, стройная и полная правильной красоты, она одевается всегда в рубашку и тёмную юбку до середины голеней, а волосы скрепляет металлической заколкой, чтобы не падали вниз и не мешали вести уроки. Говорит Саша мягко и немного картаво, пишет на доске мелом тоже мягко, словно ест из банки сметану, бережно сжимая мел пальцами и сильно не надавливая, чтобы не сыпать на пол белую крошку. Особенно хорошо Саша рассказывает о Революции и Гражданской Войне, о героях и врагах, каждого врага она знает в лицо и может смешно нарисовать на доске, тощего Керенского, усатого Корнилова, плотного, как сытый крестьянин, Деникина, швваброобразного Колчака в фуражке, ещё пуще увеличивающей его длину, обвешанного орденами Врангеля, барона в высоких сапогах, засевшего за Перекопом, они лезут по карте Родины, со всех сторон, и Саша для большего впечатления о силе зла пририсовывает идущие за ними белые полки в виде густых штыковых частоколов. Каждый раз ученики пугаются заново безнадёжному положению Революции, словно Война повторяется теперь вновь, и всё может стать иначе, не появись снова командарм Ворошилов, красный маршал Будённый, неустанный генерал Фрунзе и хитроватый герой Василий Чапаев. Но они появляются, один за другим, Ленин бросает их в бой размеренно, зря не тратя резервы даже перед лицом смертельной опасности, каждый выходит,

когда наступает его время, и частоколы штыков редеют, стираемые ребром Сашиной ладони, и кривые, пузатые, колченогие враги плетутся назад, ползут в свои норы, падают в море и убираются вплавь в далёкие империалистические края, где пока ещё не взорвалась мировая революция и капиталисты могут жиреть, напиваясь кровью рабочего труда.

Трудовое воспитание, физику и физкультуру преподаёт пожилой человек по фамилии Ломов, никто даже не знает, как его зовут, обращаются просто: товарищ Ломов. Ломов низок ростом, плотен и суров, не улыбнётся никогда, лицо у него похоже на квадрат больше, чем на другие геометрические фигуры, щетинисто и буро, говорят, что Ломов – бывший революционный матрос и что все родные у него погибли на войне, но сам он об этом не говорит, а говорит только по существу, и когда ученик должен объяснить ему закон физики, Ломов заранее предупреждает: говори суть, нам не закон нужен, ты суть от него возьми. Так, говорит, всё теперь на свете: законы – прочь, они отжили своё, нам главное – суть взять, чтобы сердцем чувствовать, где правда, потому что человечество за историю свою много зряшного и неправильного сделало, чего и вовсе можно было не делать, это мы отвеем, а возьмём самое зерно и его посеем вновь, и вырастет коммунизм, потому что коммунизм – чистая правда, и нет в нём ни капли лжи. Потому и считает Ломов ложь главным врагом и оружием империализма, и когда ошибается в уроке, говорит: видите, ошибся, солгал вам, потому и нет ещё коммунизма, там люди ошибаться не будут. Что есть странное в Ломове, так это привычка его выходить иногда к стене детдома, там поворачивается он лицом в степь, и однажды Вера случайно подсмотрела, что он справляет там нужду, чтобы не ходить в общий туалет.

Математике учит старый, искривлённый человек, которого зовут дед Никанор Филиппович, от него сильно пахнет махоркой, потому что он много курит, только во время урока терпит, а после стремится на волю, сесть на табуретку у двери и сделать из бумаги себе самокрутку, поднося же её после ко рту неправильно сложенной рукой, похожей на высохший кусок древесного корня, дед Никанор щурится и кривит рот в доброй улыбке, особенно радостно ему, если кто из детишек придёт к нему тогда спросить что-нибудь о треугольниках, дробях или

других непонятных существах, которых можно, оказывается, насильно поселить у себя в голове, и они потом живут там, и иногда даже начинают сами говорить, дед Никанор гладит тогда ученика по голове и глядит в степь за дверью, беспокоясь так о месте будущей жизни для растущего человека, не будет ли оно холодным и скучным для него, и станут ли выполнятся там законы математики, которым он учит.

Катя постепенно привыкает жить в детдоме, она становится спокойнее, а коса её – грязнее, потому что горячая вода бывает только раз в неделю, а за волосами Катю следить всегда заставляла мама, даже в пионерском лагере она всегда мыла их лишний раз, думая о том, что иначе мама по возвращении рассердится, теперь же мамы больше нет, и аккуратность никому не нужна. Кормят Катю мало, на завтрак дают хлеб с молоком, а на обед – молочный суп с лапшой или тощий бульон с луком, да ещё пирожки с капустой, а ужина иногда не бывает вовсе, а иногда он состоит из одного яблока. Но для Кати еда не имеет никакого значения, она мечтает только иногда о мороженом или шоколадной конфете, какие приносил раньше изредка её отец, когда ещё не был предателем. Вечерами дети собираются в читальной комнате, и Саша читает им вслух книги, про историю и просто про жизнь, а иногда даже стихи. Во время чтения она часто останавливается и объясняет прочитанное, непонятные слова или незнакомые имена, в читальной комнате тепло, на столе, где сидит Саша, горит керосиновая лампа, света от неё хватает только на книгу и Сашино лицо, дети сидят в сумраке, и можно думать о чём хочешь и шёпотом разговаривать между собой.

Перед самым сном, уже в постели, Катя лепит что-нибудь из куска глины, который она стащила на кухне, когда помогала повару Кларе Васильевне мыть посуду. Клара Васильевна толстая и ласковая, она дала Кате за её труд самую настоящую ватрушку, которую сделала сама в свободное от работы время. Клара Васильевна попросила Катю съесть ватрушку прямо на кухне, но хитрая Катя утаила самую вкусную половину для Веры, а ещё Клара Васильевна сообщила Кате по секрету, что раньше её звали Агафья, а Кларой она назвалась от высокого революционного сознания в честь немецкой революционерки Клары Цеткин. Глина очень нужна Кате, чтобы создавать из неё маленькие безглазые

существа, живущие только день, потому что на следующий Катина рука сминает их, чтобы сделать в глине новую сущность. Дома, в Москве, у Кати был пластилин, белый и чёрный, который она никогда не смешивала, чтобы не испортить, из белого она лепила людей, собак и аистов, а из чёрного – кошек, ворон и мазутные канистры, среди которых её творения проводили свою жизнь.

Катя знакомится с другими девочками из приюта, но дружить может только с Верой и с её подругой из соседней комнаты Аней, маленькой светловолосой девочкой, которая вечно тоскует о чём-то и почти ничего не говорит, только вздыхает. Иногда Аню охватывает такая тоска, что она не может ничем заниматься и просто ложится на своей постели лицом в подушку и тихо лежит, не плача, она ни на кого не сердится, потому что понимает, что никто не виноват в её тоске. В такие дни Кате кажется, что душа покинула Аню, есть всё-таки в человеке какая-то душа, которая может уйти, а человек продолжает жить, тихо лежать, положив на постель остывающие руки и ноги, пока душа не вернётся назад. Пока Аня ждёт возвращения своей души, можно потрогать её похолодевшие пальчики, поцеловать её в щёку, даже пощекотать подошвы ног, она ведь так боится обычно щекотки, сразу сжимается в клубок и исступлённо хихикает, но, что ни делай, Аня всё равно останется неподвижно лежать, и глаза её будут тупо смотреть на наволочку, только изредка подрагивая веками. Аня никогда заранее не знает, когда придёт её большая тоска, утром того же дня она может быть весёлой и живой, тоска внезапно подходит к ней и начинает душить, однажды на перемене между уроками Катя видела, как это бывает, Аня стояла у окошка и чертила пальцем по пыли на стекле буквы, смешно коверкая слова, а потом вдруг палец её остановился, замер на полпути к концу проводимой чёрточки, а потом Аня просто опустила руку и осталась тихо стоять, глядя в окно, несколько мгновений она совершенно не дышала, словно хлёсткий резиновый шнур перехватил ей горло, наконец, судорожно, как бы подавившись, вздохнула, лицо её было таким бледным, будто её и вправду сейчас вырвет. Катя посмотрела в окно, туда, где остановились глаза Ани, но ничего не увидела там, кроме кирпичной стены, обрывающейся косым разломом, и степи за ней, где сентябрьский ветер бил крыльями жёлто-зелёные травы, и высоко над землёй, то сбиваясь, то снова выравнивая дугу, кружил маленький сокол. В тот день Ане было так плохо, что

казалось, она совсем умрёт. Катя спросила Веру, почему не дать Ане покурить, чтобы она забыла о своей тоске, но Вера ответила, что когда-то пыталась уже курить вместе с Аней, но ту сильно стошнило, губы у неё стали голубыми, и Вера очень испугалась, что Аня отравится. Вера вообще относится к Ане, как к младшей сестре, всегда вступается за неё, и Аню никто не может обидеть, потому что все уважают Веру, хоть она и не старше других, но держится по-взрослому, и Катя рядом с ней тоже чувствует себя взрослой, они ведь иногда ходят с Верой в степь смотреть в будущее, и Аня ходит с ними, она тихо сидит в балке и не мешает, только смотрит на грезящие лица подруг и, наверное, представляет себе, как светло там, на белых берегах смерти, а никто больше не знает о будущем, и даже Саша, которой уже двадцать лет, она комсомолка и читала почти все книги, которые написали Ленин и Сталин, не знает ничего о синих реках смерти и кровавых маковых полях, где бродит жизнь Великого Вождя в белоснежном своём кителе. Это их собственная тайна, и знает о ней ещё только Он, который сам видел их глядящими вниз с сияющих мягких облаков.

Сны Кати становятся со временем не такими пугающими, она привыкает и к ним. Катя уже знает, что за домиком в степи есть старое, обглоданное дождями и ветром дерево, тополь, он совсем не похож на стройные молодые московские тополя, он тополь только по листьям, но Катя всё равно любит приходить к нему, потому что он – единственное дерево в окрестной степи, и отец тоже часто встаёт с лавочки и ходит смотреть на тополь, гладит руками его ствол, пожелтевшие листья шуршат на ветру, осыпаясь с ветвей, но, сколько бы они ни осыпались, остаётся всё равно много, словно, сорванные раз, приносятся они потом ветром вновь к родным ветвям и врастают в них, чтобы завтра осыпаться опять. Мама не ходит к дереву, она сидит на лавочке или занимается чем-то внутри дома, однажды она испекла оладьи на сковородке, они были тёмные от мёда и очень сладкие, Катя съела только одну, потому что когда она её съела, ей стало страшно, она почему-то испугалась, что мама хочет её отравить. Это был диковатый и непонятный страх, он возник сам по себе, в свете качающегося фонаря, в непреходящих сумерках остановившегося там времени, Катя украдкой взглянула в лицо матери и снова перестала её узнавать. Эта женщина, стоявшая перед ней, словно притворялась её матерью, и всё получалось у неё, походка и

движения головы, одежда и руки, только лицо иногда ускользало из её власти, становясь незнакомым и чужим. С отцом такого не бывало, он всегда был собой, а на мелочи, появившиеся лишь теперь, вроде золотого блеска во рту, Катя старается не обращать внимания.

В конце сентября дети после уроков начинают ходить на строительство нового завода, чтобы оказывать помощь рабочим и тем самым приобщаться к коммунистическому труду. Завод должен получиться огромным, и котлован его похож на озеро, из которого ушла вода, а наполовину возведенные корпуса цехов белеют далеко в степь, окружая своими стенами горы песка и даже участки дикой травы, словно завод расширяется уже без ведома человека, и рабочие не успевают осваивать его новые территории. Дети приходят на строительство после полдника, они убирают с верхних этажей мусор и таскают наверх вёдра с цементом и краской, а девочки приносят строителям испечённые в столовой детдома пирожки с капустой. Каждое пионерское звено получает своё задание, и все стремятся исполнить его как можно быстрее, чтобы перевыполнить план.

На четвёртый день работы Катя поднимается на верхний этаж главного корпуса с двумя пустыми вёдрами из-под строительного мусора, через прямоугольные пробоины окон косо падают лучи заходящего солнца. Наверху никого уже нет, взрослые рабочие спустились на ужин в свой маленький посёлок на краю котлована, а пионерская смена брошена сегодня на соседний корпус, где нужно очистить от цементного песка подвал, только Катя, Вера и ещё одна девочка работают здесь. Катя ставит вёдра у едва начатой стены, которая построена ей всего по колено, и смотрит на две широкие белые линии, уводящие взгляд за собой, в степь, прямо к опускающемуся солнцу. На небе висят загоревшиеся облака, далеко, у самого горизонта тянется птичья стая. За Катей поднимается Вера, которая в рукавицах из мешковины несёт две уже высохшие после покраски рейки. Рейки они красили сами и извели на них уйму краски, наверное, в два раза больше, чем истратила бы тётя Тамара, их скуластая загорелая начальница из строителей, но краски всё равно очень много, главное, что этот корпус, как сказала тётя Тамара, нужно построить побыстрее, потому что он главный и должен начать жить раньше всех. Катя оборачивается на звук постукивающих

о ступеньки реек, лицо Веры выглядит усталым, на лбу выступили капли пота, как на бутылке холодного ситро, но она улыбается, потому что это очень хорошо: сделать свою работу и теперь увидеть сверху степь, покорённую человеческим трудом, и их трудом тоже, ведь в этих каменных глыбах, горами вздымающихся теперь над землёй, есть и толика их усилий, и солнце, тонущее в своём красном сне, ласково греет им лица, потому что оно также окончило на сегодня свой труд, вместе с ними.

– У тебя есть? – тихо спрашивает Катя.

– Есть, – так же тихо отвечает Вера и, оглянувшись по сторонам, снимает рукавицы, бросает их на рейки.

– Давай прямо тут, – предлагает Катя. – Немножко.

– Что, все уже ушли?

– Да, у них ведь ужин.

Вера садится на пол, прислонившись спиной к стене, и вытаскивает из кармана свёрнутый платок. Катя получает косячок и тоже садится на пол. После работы хочется пить, и горечь ещё больше высушивает рот, но облака разгораются всё ярче, шерсть пламени срывается с них, и земля начинает течь под стену у ног, её гонит от солнца неумолимый ветер, будто солнце – это магнит с обратным действием. Косячок невелик, и Кате не удаётся сегодня взлететь, она просто сидит и весело смотрит на ползущую землю, на Веру, откинувшую рядом голову назад, курчавые локоны её шевелятся, глаза наполнены искрами изнутри, совсем как горящие облака. Приходит Аня, искавшая подруг на простреленных огненным светом лестничных пролётах бетонных башен, она молча садится рядом, ставит колени перед лицом и складывает на них руки, а на руки кладёт подбородок. Катя поднимает край своего тёмно-синего фартука, испачканного цементом, выше колен и смотрит на свои ноги, вытянутые по полу, стройные, мягкие и сложенные вместе, как у новой куклы. Ей попеременно кажется, что это её ноги и что чужие, но потом почему-то становится жалко их, словно они сделаны из мокрого песка, и их сейчас смоет волной прибоя. Тогда она поднимает глаза вдаль, на светлые постройки в траве, и думает о том, что здесь будет не просто завод, а целый город, маленькая Москва, очень зелёный, весь в садах, которые весной станут цвести белым, как снег, и будет много фонтанов, и отсюда можно будет увидеть убегающие вдаль поезда и яркий матерчатый купол цирка.

Розоватые от садящегося солнца парапеты, стремящиеся по плечи в травах к горизонту, кажутся Кате широкими каменными дорогами, платформами, готовящимися поддерживать в будущем нечто невообразимое, огромное, чему необходимо будет идти до самого неба, скоро она увидит, скоро поймёт, что тут строится, как будет выглядеть завтра социализм, увидит и узнает в нём знакомые черты, контуры стен Вечного Кремля, блики мерцающих рубиновых звёзд, котлованы маковых полей, просторные площади аэродромов. Катя вытягивает раскрытую руку навстречу солнечному пожару, чтобы увидеть её насквозь, ведь это её собственная рука, которую она чувствует своей, и вместе с тем эта самая рука наносила сегодня краску на тонкие рейки, которые будут вставлены в камень и останутся в нём надолго после того, как Катя уйдёт, они останутся в далёком будущем, и другая девочка, папа которой станет работать на новом заводе через много лет, папа которой не станет портить чертежи и саботировать социалистическое производство, потому что тогда, через много лет, не останется уже никаких капиталистов, никаких врагов, они все умрут и станут немым прахом прошлого, некому и незачем станет делать зло, так вот эта будущая девочка сможет увидеть те же стены и окрашенные Катей рамы окон, и в них она увидит руки Кати и её счастливые глаза. Кате очень хотелось бы узнать эту будущую девочку и подружиться с ней, но ей немного страшно, потому что там, в будущем, все люди станут намного лучше, чем теперь, и там уж точно, например, никто не станет делать ночью того, что нельзя.

Назад они идут всем отрядом, по широкой степной дороге, разъезженной колёсами грузовых машин. От дороги над травой поднимается пыль, стелется дымными шлейфами и растворяется в наступающих сумерках. В этой пыли ещё не совсем отошедшей от яркого полусна Кате чудится нечто волнующее и пугающее, словно в высокой траве таятся те непохожие на обычных людей существа её снов. Зачем они здесь, спрашивает себя Катя, какова предназначенная им роль в рождении нового будущего? Зачем мне нужна память, почему у человека обязательно должны быть отец и мать? В следующий раз, когда пойду к ним во сне, это будет последний раз, решает Катя. Я скажу им: прощайте.

КОЛДУНЫ ЗЛА

Ночью дует сильный ветер, такой сильный, какого не было раньше. Он бьёт своим тяжёлым птичьим телом в стёкла и стены дома, с сухим свистом рвёт траву с земли, даже звёзды спрятались от него где-то в небесной черноте, забрались в свои раковины, сомкнули створки век. Катя бессильно лежит на кровати, раскинув руки, сон находит на неё волнами, делает ей иногда страшно, заглядывает своим непонятным, полусовиным лицом в глаза и снова уходит, как большая тень от облака, оставляя Катю одну на целой земле. Всё вокруг давно уже спит, несмотря на сумеречное бешенство ветра, словно решило забыться, провалиться в небытие и так легче пережить наступающую гибель. В какое-то мгновение глаза Кати привыкают к темноте, и она снова начинает видеть неясные проблески звёзд, размытых беспрерывным движением ветра, и свет фонаря вытекает из темноты, повернувшись к ней, как часовой. На лавочке перед домом никого нет. Катя огибает стену и смотрит на нагнувшийся к траве тополь, теряющий листву, что срывается с веток, шурша, как тёмное пламя, и улетает вдаль. Она входит в дом, где никогда ещё не была, отец сидит за столом, глядя перед собой, мать стоит у печки, лица у них желты в отсвете печного огня, кожа стянута, морщинясь на швах, чтобы сузить черты глаз, изогнуть тонкие носы, изобразить маски сухих листьев или птиц. Вот они какие на самом деле, думает Катя, теперь я знаю, они только притворялись другими.

Она стоит на пороге и чувствует, что в комнате ещё кто-то есть. В мазутных тенях по углам, куда не проникает свет огня. Кто-то прячется там и следит за ней. Кто это? От страха на глазах Кати выступают слезы, и корни волос шевелятся, будто по ним ползают крошечные черви.

– Уходи, – шепчет ей кто-то, так тихо, что нельзя определить, откуда. – Уходи и больше не возвращайся сюда.

– Кто ты? – спрашивает Катя. Язык начинает неметь у неё во рту.

– Катя, – каплет на неё из подстенной тьмы. – Закрой глаза.

Катя послушно закрывает глаза, нащупывая рукой дверной проём, чтобы побежать в степь, где холодно и темно, но всё равно лучше, чем в страшном доме. Она понимает, что сейчас это что-то, что ей нельзя видеть, вышло на свет, она слышит тихий шорох, словно комкается тонкая бумага, она кричит и просыпается, вжавшись изо всех сил в постель, и шорох кажется ей существующим на самом деле, но как только она пристально вслушивается, сразу исчезает и не повторяется больше. Уходи, думает Катя, я не слышала тебя, уходи, я никому не скажу, только не говори со мной, не видь меня, забудь, что я есть.

Она боится пошевелиться, потому что тогда её найдёт то, из сна. Оно здесь, близко, и если оно почувствует Катю, её ничего не спасёт, она может кричать, но никто её не услышит, и встать она не сможет, оно придёт, скажет ей закрыть глаза, и, когда она их закроет, оно сделает с ней страшное, страшное. Вот он снова, этот тихий шорох, там, за окном. Катя осторожно, стараясь не шуметь, поворачивается лицом в подушку, чтобы как можно меньше отличаться от своих спящих подруг.

– Ты слышишь меня? – спрашивает шёпот сквозь стену, и камень не в силах его приглушить. Катя узнаёт голос, это же девочка из сада. Она представляет себе её лицо, покрытое холодными каплями росы. – Не прячься, я знаю, что ты здесь. Только закрой глаза, и я приду. Ты станешь мной, я стану тобой. Хочешь?

– Нет, – беззвучно говорит Катя в подушку.

– Боишься, – тихо шепчет девочка из сада. – Трусишка.

– Уходи, – шепчет Катя. – Ты не настоящая, ты мне только снишься.

– Ты дура, – произносит шёпот за стеной, и наступает тишина. Катя тихонько встаёт и босиком идёт в коридор, нащупывает на табуретке спички, зажигает одну и поднимается по лестнице на второй этаж, где живут взрослые. Как маленькое привидение, она тихонько приоткрывает дверь во вторую комнату слева, и в лицо ей поступает тёплая духота, скрипит кровать, словно пережёвывает по-коровьи темноту, сонно и тяжело мычит Саша, пахнет испарениями человеческого тела и нестиранными носками. Катя останавливается у порога, притворяя за собой дверь, и терпеливо ждёт, пока Саша перестанет мычать. Что-то крепко

стукается в ребро кровати, слышен звук выпущенных газов. Катя морщится и зажигает вторую спичку. На кровати лежит полузамотанная в одеяло Саша, а на ней – товарищ Ломов, совсем голый, Саша обнимает его руками, и неуклюжее, раскорячившееся тело Ломова рывками напирает на неё, словно застрявший в грязи грузовик, от душащей тяжести потного Ломова Саша и стонет, опустив веки и растопырив пальцы рук, лежащих у Ломова на спине. При огоньке спички глаза её сразу раскрываются, она вскрикивает, закусив губу. Опершись на кровать, товарищ Ломов приподнимается с её тела и смотрит на Катю блестящими в неверном свете глазами, как поднятый из берлоги медведь. Катя гасит спичку, потому что её больно стало держать.

– Ты что, Катюша? – спрашивает Саша, натужно дыша.

– Я хотела спросить, – говорит Катя. – Может ли такое быть, чтобы из сна вышел человек и стал жить на земле?

– Нет, такого не бывает, – отвечает Саша. – Тебе приснилось что-то страшное?

– Она мне сказала во сне, что придёт и поселится во мне, так что я стану как она, – Катя слышит, как в темноте Ломов встаёт, пыхтя, и ищет свою одежду. – Но я не хочу быть как она, потому что она не настоящая.

– Не бойся, Катя, она не придёт. Если она приснится в следующий раз, скажи ей, что ты её не боишься. Она ведь ничего не может сделать тебе, она не настоящая. Иди ко мне, мы поговорим. Товарищ Ломов сейчас уйдёт.

Катя подходит к Сашиной кровати, проверяя руками свой путь. Она не зажигает спички, потому что не хочет увидеть голого Ломова, который страшен и неприятен. Ломов пыхтит, видимо, надевая свои дурно пахнущие носки. Отыскав край Сашиной кровати, Катя садится на неё, а спички кладёт на пол. Бельё на кровати тёплое, мятое и влажное от пота. Саша садится, взбивая подушку, из-под одеяла выходит хвостом терпкий запах её голого тела, потом она обнимает Катю, прижимая её к себе, как недавно прижимала Ломова.

– Давай ты останешься сегодня спать со мной. Чтобы не было страшно. Лезь под одеяло.

– Жарко, – говорит Катя, забираясь с ногами под одеяло. Саша вся в маслянистом поту, кожа её палит жаром, как обмотанная полотенцем кастрюлька с картошкой в мундире.

Они молчат, слушая надсадное пыхтение товарища Ломова. Саше душно, она снимает одеяло со своей груди, пытаясь остыть. Наконец Ломов поднимается с кровати и уходит. Саша вздыхает.

– Сон – это затмение человеческого сердца, – говорит она Кате. – Когда воля затихает, может наступить страх. Потому зверь боится в природе всего, даже когда встречает слабого, тоже сперва боится. А человек победил зверей, хотя они были сильнее и опаснее его, и не потому, что взял в руки камень, а потому что у него произошла воля. Она горит в человеке, как огонь, и не позволяет ему бояться вместо того, чтобы работать и бороться. Так и Советская власть победила в Гражданской войне против несчётного множества врагов, потому что у неё есть своя воля: Партия Большевиков, учение Ленина. Для такого человека, как Ленин, не существует страшных снов. Он ещё в детстве победил страх одним сознанием, он понял, что сон – это иллюзия идеализма и заблуждение тёмного прошлого, как, например, религия. Наука теперь узнала, что никакого Бога не существует, а раньше все люди боялись Бога и из-за всяких суеверий умирали раньше, ведь незачем им было бороться за свою жизнь и за будущее, если всё определяет Бог. Такое положение было выгодно эксплуататорам, и священники были их прислужниками. Ленин понял всё это и не стал ходить в церковь, а по ночам спал спокойно, чтобы отдохнуть и новым днём думать дальше о законах мировой революции. Ты не спишь?

– Нет, – отвечает Катя. – А тебе тяжело было под товарищем Ломовым лежать, он ведь большой и тяжёлый?

– Тяжело, – соглашается Саша. – Но его жалко, у него всю семью белогвардейцы перебили, он несчастный человек. Его несчастье – настоящее, а твой страх – нет.

– Я ведь знаю, что она ненастоящая, а страшно всё равно.

– А ты подумай, пойми, чего ты именно боишься. Твой сон – это как кукольный театр, который ты показываешь сама себе. Он очень похож на жизнь, но это иллюзия, неправда, это просто игра. И если ты захочешь, она будет такой, как тебе нравится. Это зависит только от тебя.

– Я не хочу, я правда не хочу, чтобы было страшно.

– А что ты хочешь? Не хотеть мало, нужно чего-нибудь захотеть.

– Я хочу домой, – шёпотом говорит Катя, и из глаз её сразу начинают течь слёзы. – К маме.

Рыдание прерывает Катины слова. Она не может больше ничего говорить, а может только плакать, и она плачет, утыкаясь лицом в голое горячее плечо Саши, и смывает с него слезами пот. Саша не пытается её утешить, она молчит и не верит, что у неё тоже наворачиваются слёзы. Катя плачет сильно, навзрыд, потом долго ещё продолжает всхлипывать и шмыгать носом, вытирая руками глаза. То, что существует вокруг неё на самом деле, – жаркая живая Саша, душная комната, не ведущая больше никуда, закрытая от всего неба, спящие в соседних помещениях дети, ночная тишина, вздымающаяся на рябящихся множественным дыханием волнах человеческой жизни во сне, – это всё обступает Катю, так плотно, что не остаётся ни единой щели для страха, совсем ничего ненастоящего, снова становится спокойно, и она может теперь жить дальше. Катя засыпает и не видит больше никаких снов.

Через шесть дней Никанор Филиппович повесился. Он опаздывает на урок, и несколько девочек отправляются узнать, не заболел ли учитель. Среди них и Катя с Верой, но первой в комнату входит отличница Лиза Перекличко, потому что она самая смелая из всех и потому что Никанор Филиппович её больше всех любит. Но её смелости не хватает: сначала Лиза громко кричит, а потом падает в обморок. Катя видит за дверью висящего на стене старика, он в пижаме и глядит на комод, а на комоде тикают деревянные часы. Язык торчит у него изо рта, штанины пижамы желтеют от мочи, которая разлита лужицей под босыми ступнями, вытянутыми к полу. Волосы Никанора Филипповича растрёпаны, его тапки валяются посередине комнаты, а в углу рядом с ним лежит перевёрнутый стул, с которого Никанор Филиппович совершил свой последний прыжок. Старик висит неудобно, както скрившись, наверное, ему больно, давит петля, но он продолжает висеть, и от этой терпеливости Катю начинает тошнить.

Потом приходят товарищ Ломов и Саша, они снимают Никанора Филипповича со стены и кладут на кровать.

– Чего собрались, ступайте в класс! – говорит Саша стоящим у порога детям. – Тоже хорош, хоть бы дверь запер, сволочь, интеллигенция царская. Всё равно все вымрут, а детей пугать было незачем.

И тогда товарищ Ломов поворачивается и бьёт Сашу кулаком в зубы, наотмашь, так сильно, что она ойкает и, дёрнувшись головой в сторону, заваливается набок, быстро пятится, опираясь руками на что попало, и всё же падает, грохается задом об пол, и так сидит, держась рукой за разбитый рот. А товарищ Ломов рыгает и так смотрит на детей, что они шарахаются назад, как от дикого зверя.

– Пошли все вон! – орёт на них Ломов. – Вон, сукины дети! – Он кидается к двери, с размаху захлопывает её и изнутри бьёт дверь ногой, раз, второй, третий, потом, через несколько мгновений, ещё и четвёртый. Дверь трещит, хрустят выдираемые из косяка петли. – Сукины дети, ебёна мать! – ревёт он, в неистовстве топая ногами. – Ебёна мать!

– Заткнись! – кричит на него Саша и сразу начинает визжать.

– Ты ещё, сука! Ты ещё, блядская тварь! – вопит Ломов. Визг Саши становится громче, слышен повторный удар её тела в пол, и потом частые удары сапог в человеческое тело. Саша захлёбывается кричать.

– Не бей, хватит, не надо! – плачущим голосом просит она за дверью.

Катя, прижавшись в коридоре вместе с Верой к стене, слышит всё, что происходит в комнате, другие дети тоже толпятся во мраке, кто-то плачет.

– На фронте ты, дрянь, не бывала? – оглушительно орёт Ломов. – Не бывала? Где твоя смелость, комсомолка? Где смелость, сука? Сука! Сука!

– Волосы отпусти! – кричит Саша. Крик её переходит в долгий стон и визгливое мычание коровы под тесаком.

– Я за вас кровь проливал, гады! – не унимается Ломов, охрипший от своего рёва. – Под пулемётным огнём! Блядь! Под пулемётным огнём!

– Ну, хватит, хватит! – визжит Саша.

– Да я тебя убью, говно! Вы все, блядь, говно!

– Ногами не надо, – прерываясь от слез, стонет Саша. – Больно!

– За говно, за блядское говно, за пизду твою кровь проливал! Человек удавился, пизда, а ты живёшь! Ни хрена вам не останется, ни хрена, одни жить будете, на мёртвой земле! Будете землю обсырать!

– Ааа! – вопит Саша. – Волосы отпусти!

– На тебе, гадина! – раздаётся сильный глухой удар, за ним другой. – На тебе, свинья, на! Не обосрёшь землю, могилу Машину не обосрёшь!

Саша перестаёт кричать, и глухие удары прекращаются.

– Что, – говорит Ломов в наступившей тишине. – Задумалась, наконец? Вот и думай. Камень крепче головы. Увидела камень? Я тебе показывал. Вот теперь и думай.

Из комнаты слышится тихая возня, а потом начинается редкий чавкающий звук, слышный даже в коридоре, и многие мальчишки и девчонки в коридоре понимают, что товарищ Ломов делает с Сашей, положив её животом на кровать, прямо на ноги мёртвого старика, товарищ Ломов сипит, рявкает и иногда хрипло ругается коротким матом, а Саша молчит, скоро становятся слышны удары о кровать, визгливый скрип пружин, а потом прекращается и это. Дверь тихо приоткрывается, и Ломов хрипло говорит расползающимся в сумрак детям:

– Немедленно всем спать, теперь наступила ночь.

Небо пасмурно, временами несколько смеркается, и идёт мелкий дождь, еле слышно шурша по травам, перестаёт снова, уходит куда-то в недра земли, но солнца всё равно нет. Из окна пахнет мокрой травой, которая от дождевой влаги будто оживает, хотя давно засохла и мертва. Товарищ Ломов установил на территории детского дома ночь, и все лежат в кроватях, хотя при дневном свете никто не может спать. Ломов запер двери и посадил толстую Клару в подпол, а что стало с Сашей, неизвестно, она не выходит из комнаты, где Ломов её бил.

Лежать так просто в постели среди белого дня сперва было странно, а после стало скучно, и Катя с Верой назло Ломову закуривают одну папироску на двоих, тайком передавая её друг другу и затягиваясь под одеялами, чтобы он узнал, как не удержать ему их в четырёх стенах, хоть бы он и окна тоже запер. Но, когда трава приблизилась к Катиному лицу и пошёл новый дождь, крупный, как бриллианты, она жалеет о дыме, который вдохнула, потому что страх приходит снова, и она сразу оказывается в саду, где не бывала уже давно, и всё вокруг такое мажущееся и яркое, словно тонко вылеплено из волшебного цветного пластилина: и зелёные глянцевые листья кустов, и чистая свежеполитая трава, и белые капли фонтанов, низвергающиеся в прозрачный воздух,

и розы на ветвях, и огненные маргаритки вдоль дорожки, и молочные кувшинки на чёрном зеркале пруда, где ряска лежит неподвижно,как невытертая пыль, и красные яблоки, мерцающие на деревьях, и мягкая жёлтая птица иволга, молча сидящая на суку. А страшнее всего то, что Кате хочется идти по аллее, мимо пруда, к покрытой лозами лилового винограда стене, неодолимая сила влечёт её туда, на песке чёткие трапеции косого утреннего солнца, как ковёр, и босые ноги Кати совсем не оставляют на нём следов. Она подходит к стене и сквозь крупные листья и переплетение усиков и розоватых плотных лоз видит на сером камне какие-то рисунки, будто нарисованные цветными мелками, жёлтым, алым, голубым и тёмно-синим. Это просто линии, длинные и искривлённые, как волосы, размётанные ветром, но всё же они изображают что-то, таинственное и страшное.

– Я рисовала это всю ночь, – шепчет детский голос за спиной Кати.

Она оборачивается и встречает девочку из сада, которая, наверное, и раньше стояла в зелени кустов, но Катя её не замечала, потому что девочка из сада одета в длинное зелёное платье с блёстками, совсем такое, как сверкающая каплями фонтанов листва.

– А что это? – спрашивает Катя, потому что хочет узнать, умеет ли она сама ещё говорить.

– Не узнаёшь? – девочка из сада выходит на песок, глядя Кате прямо в лицо. Катя никак не может понять, какого цвета у неё глаза. В каштановых волосах девочки из сада свит какой-то странный зелёный бант. – Это ты.

– Я? – Кате вдруг делается так страшно, что она хочет немедленно проснуться. Лицо девочки из сада искажается гримасой боли, словно её дёрнули за волосы.

– Перестань, – шепчет она, – ты не должна так делать. Тебе что, страшно?

– Нет, – лжёт Катя.

– Хочешь, мы сделаем так, – продолжает девочка из сада, подходя ближе, – что ты никогда больше не будешь меня бояться?

– Не надо ничего делать, – просит Катя и снова пытается проснуться. Девочка из сада вскрикивает и останавливается.

– Перестань, что же ты такая тупая. Если ты сейчас уйдёшь, ты потом придёшь снова, и так будет всегда. Разве ты не хочешь покончить с этим?

– Я хочу.

– Хорошо. Тогда закрой глаза.

– Нет.

– Просто закрой глаза. Это не будет больно.

– Нет. Не надо, – просит Катя. – Отпусти меня отсюда.

– Ты же поймёшь, что зря боялась. Ну, пожалуйста, закрой глаза.

Катя не перестаёт видеть, как девочка из сада приближается к ней. Её зрачки не имеют цвета, всё на свете имеет свой цвет, кроме них. Сейчас это мягкое, прохладное лицо коснётся Катиного, от девочки из сада пахнет мокрой травой и дождевыми червями. Перестав думать, Катя закрывает глаза.

Она не чувствует ничего, проснувшись в одной темноте. Уже действительно наступила ночь, или товарищ Ломов сделал её по всей земле? За окном опять сыплется дождь, девочки шепчутся и тихо смеются в своих постелях. Из-за стены стучит молоток.

– Что это там? – спрашивает Катя у Веры, которая тоже уже не спит.

– Товарищ Ломов забивает окна одеялами, – шёпотом отвечает Вера. – Чтобы никто больше не знал, когда день, а когда ночь. Анька ходила в сортир и там встретила Олю из второй комнаты, она говорит, Ломов сломал уже молотком все часы.

– Что же теперь будет? – задумчиво спрашивает Катя. Они молчат, думая о будущем, которое вдруг окуталось непроницаемым мраком.

– Знаешь что? – тихо произносит Вера. – Надо убежать на стройку и рассказать людям о том, что Ломов решил сделать вечную ночь. Пойдёшь со мной?

– Холодина такая, – ёжится под одеялом Катя. – И дождь идёт.

– Забьёт окна – не убежишь, – уверенно предсказывает Вера будущую топографию мира. – Надо сейчас.

– Ну, пошли, – соглашается Катя. – Поесть ничего нет? Не было ужина?

– Какой теперь ужин, тётя Клара в подполе сидит. На стройке дадут чего-нибудь поесть.

Они одевают свою одежду, обуваются в казённые сапоги и отворяют окно, оттуда выходит сильный шорох дождя и тяжёлый, железистый запах пропитанной водой земли.

– Вы куда? – спрашивает кто-то за спиной.

Вера без ответа вылезает в окно, став сперва коленями на подоконник, и озирается по сторонам. Следом за ней выбирается Катя. Дождь сразу покрывает ей лицо своей леденящей сыпью, капли густо летят прямо из мрака, не нуждаясь в свете для выбора своего пути. Вера бежит вдоль стены, ограждающей дом, вправо. Катя смотрит налево, на тёмный прямоугольник наглухо закрытых ворот, зачем-то отирая воду с лица. Многие окна уже снаружи задраены одеялами, закрывающими стёкла, отчего дом выглядит пугающе, на шесте над крыльцом вместо красного флага висит мокрый чёрный ватник, мёртвый, как пугало. Катя поворачивается и тоже бежит, чтобы не остаться здесь одной. Они знают место, где под стеной можно пролезть, этот лаз выкопали летом мальчишки, когда играли в гражданскую войну. Капли противно колют Катино лицо на бегу, один раз она поскальзывается на мокрой траве и чуть не падает. В яме под стеной собралась вода, но приходится туда лезть, впрочем, Катя уже такая мокрая, что спокойно ложится в грязь и ползёт без отвращения, отворачивая только лицо от толкающихся впереди сапог Веры, которые бросают ей навстречу крупные брызги, полные хрустящего на зубах песка. Дальше они бегут степью, в темноте, сквозь намокшие заросли травы, с неё вода заливается им в сапоги и хлюпает, пропитав уже носки. На дороге – лужи и грязь, здесь приходится падать, стараясь только не вывихнуть ногу, вся одежда уже в грязи, а кроме того, Кате всё время чудится преследование свирепого в своей неистовой классовой ненависти Ломова, вооружённого молотком как типичным оружием пролетария. Ломов должен бежать быстро, от могучей силы в ногах, протаптывая грязь дороги сапогами до вечной, никогда не намокающей тверди. Иногда Кате кажется, будто она слышит уже сзади тяжёлый, чавкающий его топот, и она тогда собирает последние силы и ещё быстрее устремляется вперёд, падает, встаёт и снова бросается в темноту, временами она даже перегоняет Веру, потому что та падает и, падая, едет на коленях дальше по грязи, и давно уже никто не думает о том, чтобы не испачкаться.

Когда они видят впереди свет строительного городка, то идут к нему шагом, потому что сил у них почти уже не осталось. Рабочие не вышли на ночную смену, отвращённые неуютностью

холодной сырости, падающей сплошной стеной с небес. Их воля подавлена в сонном тепле лежанок, закрытых от дождя, и они превратились в человеческих животных, сомкнувших усталые глаза перед царствием темноты, так что Катя даже пугается, уж не установил ли Ломов повсюду свою чёрную, совиную власть. И когда на стук их кулаков и локтей отворяется дверь пошарпанного степной непогодой домишки, освещённого электрической лампочкой, перед которой всё сыплется и сыплется на свету косая водяная крупа, Катя что есть силы кричит в лицо согнувшемуся под притолокой человеку:

– Вы что, силу воли своей забыли, товарищи? Почему не работаете?

– Камень не клеится в такой дождь, товарищ пионерка, – рассудительно улыбается рабочий. – Как только клеиться станет, так десять норм положим. А что прибежали-то в такую воду? – он обеспокоено смотрит на задыхающуюся Веру, прижавшуюся лбом к рукам, а руками к деревянной стене, по бледному электрическому лицу её стекают капли.

– Контрреволюция, – тяжело и хрипло произносит она. – Ломов вечную ночь сделать хочет. Окна одеялами затыкает. Помогите, товарищи.

– Ватник вместо флага повесил, – добавляет Катя. – Часы молотком истребляет. Тётю Клару в подпол посадил.

Девочкам выдают по куску непромокаемой материи для защиты от дождя, и бригада рабочих в составе девяти человек отправляется с ними в степь, чтобы освободить детский дом, ставший временно бастионом контрреволюции. Они разбивают ломами запертые ворота, врываются в здание и ищут повсюду товарища Ломова, но находят только перепуганных детей, сидящих на своих кроватях, и злую Клару, измолотившую себе руки до синяков о дверь темницы, они срывают с окон одеяла, выламывают запертые повсюду на ключ двери, и за самой последней дверью, комнатой Никанора Филипповича, таится в темноте лютый враг, он бросается вперёд с рёвом бешеной дикой свиньи, он бьёт молотком человеческие головы и показывает тем самым своё истинное кровожадное контрреволюционное лицо. Ломова сбивают с ног и с хрустом и чавканьем бьют ломами, сверху вниз, будто пробивают во льду прорубь, ему раскалывают кости,

и он неистово хрипит, а потом перестаёт. Кто-то зажигает фонарь, на кровати лежит труп Никанора Филипповича в пижаме, с повёрнутой набок головой, глаза его прикрыты, но рот некрасиво разинут, и язык вывалился наружу, такой синий и противный, белые волосы взъерошены, как у мокрого воробья, худые босые ноги вытянуты кривыми пальцами в сторону стены, и на них лежит животом Саша, руки Саши лежат вдоль тела, голова утыкается в бельё, голые раздвинутые ноги падают на пол, платье Саши задрано, а трусы и колготки разорваны пополам.

На следующий день в детдом приезжают люди в военной форме, они ходят по всем комнатам и всё осматривают, даже заглядывают под кровати, снимают портрет Ленина в красном уголке, словно ищут за ним дверь в неведомый мир, а портрет Сталина не снимают, потому что за ним никакой вредной двери быть не может, наконец тётю Клару и Катю с Верой увозят на машине в город, чтобы допрашивать как свидетельниц. Там они попадают в большое здание, построенное из светлого камня, в котором так чисто и сухо, что вчерашний дождь кажется явлением потусторонним, Катю приглашают в кабинет, где пахнет мебельным деревом и чернилами, она садится на стул, стесняясь своих грязных колгот и казённой курточки, заляпанной присохшей грязью, напротив неё за столом сидит сухощавый мужчина с прокуренным лицом, он листает какие-то бумаги и неподвижно всматривается в них, быстро двигая маслиновыми глазами, у которых жёлтые белки, перед ним стоит стакан в витом железном подстаканнике, и в стакане – дымящийся светлый чай.

– Котова, Катерина? – вдруг говорит он, не отрываясь от своего занятия, словно обращается не к Кате, а к кому-то ещё, кто есть в комнате, но кого Катя не может видеть.

– Да, – соглашается Катя. – А откуда вы знаете?

– Мы всё знаем, – машинально говорит мужчина, продолжая перелистывать бумаги.

Катя осматривает свои ноги, обнаруживает, что колготки на левой не так порваны, как на правой, где зияет крупная дыра, и прячет правую голень за левую. Потом она ведёт глазами по стене, по портрету Дзержинского, по пятнышку облупившейся краски, к окну, где на белом подоконнике стоят горшки с сухими маргаритками. За стеклом на окне толстая клетчатая решётка, за ней

движутся размазанные фигурки людей на той стороне улицы, стоят пыльные дома, но никаких звуков в кабинете не слышно, потому что все окна и форточки затворены.

– Родители твои, Катерина, враги народа, – монотонно произносит мужчина за столом, вслепую поднимая стакан с чаем и отпивая глоток.

Катя ёжится и виновато пожимает плечами.

– Ты их осуждаешь?

– Конечно, – отвечает Катя. – Я только после пионерлагеря узнала, что они вредители.

– А если бы узнала раньше, что бы ты сделала?

– Пошла бы в милицию и рассказала.

– Молодец. И не жалко тебе было бы папу и маму?

– Что их жалеть, если они враги. Врагов нельзя жалеть. И потом, я не виновата, что они мои родители.

– А раньше ты их любила?

– Раньше... может быть. Я ведь не знала, – неуверенно отвечает Катя.

– А как же ты, Катерина, не знала, что твои родители, с которыми ты столько вместе жила, предатели, сволочи и враги советского народа? Ты всю жизнь жила вместе с этими подонками и не знала? Или ты догадывалась? Догадывалась? – мужчина поднимает свои страшные чёрные глаза и смотрит на Катю в упор.

Катя мотает головой.

– А? Догадывалась? Отвечай!

– Нет, – робко говорит Катя.

– Нет. Не догадывалась. А ведь тебя и в школе учили, чтобы ты была бдительной. И Ленин говорил: нельзя терять бдительность, никогда и ни за что. И Сталин говорил: контрреволюция поднимает голову, она пытается разрушить наш труд, нашу свободную Родину. А ты не знала, ты не догадывалась. Кто же виноват? Кто виноват?

– Я, – признаётся Катя. Она начинает немного дрожать. – Я виновата.

Следователь порывисто встаёт, выходит из-за стола и останавливается прямо перед Катей, глядя на неё сверху вниз.

– Хорошо, что ты это понимаешь. То, что произошло в детском доме, вчера – это тоже контрреволюция. Это ты понимаешь?

– Да.

– И ты снова ни о чём не догадывалась, ничего не знала? Догадывалась? Или знала? Знала? Отвечай!

– Нет, – тихо отвечает Катя, не решаясь взглянуть следователю в лицо. Она чувствует, как горло и губы уже начинают подёргивать слёзы.

– И не думала даже? Неужели даже не думала? – спокойно и ясно выговаривает сухощавый, наклоняясь к ней и берясь руками за спинку стула. От его дыхания и одежды сильно пахнет никотином. – Думала? – и он встряхивает руками стул вместе с сидящей на нём девочкой.

– Не думала.

– Значит, ты снова ничего не замечала. Это что, совпадение? Это случайность? Если что-то происходит дважды, это не похоже на совпадение.А на что? На что это похоже? Отвечай! – Катю снова встряхивает, и она начинает беззвучно плакать, по щеке сползает слезинка.

– Я не знаю, – еле выговаривает она.

– А я знаю, – говорит мужчина. – Это похоже на то, что ты специально не замечаешь, специально молчишь. Ведь ты же знала, что Ломов – это контрреволюция. Знала? Только не врать!

– Знала, – после некоторой паузы произносит Катя.

– Так, хорошо. Тогда расскажи, что ты знала. Всё расскажи, и если ты всё расскажешь честно, тебя не накажут.

– Он краткости всегда хотел, и говорил что законы нам не нужны, главное – понимание. И ещё он по ночам к Саше ходил, и ложился на неё, а она терпела, потому что он бывший революционный матрос. А когда он на неё ложился, он ей делал больно, вот он любил ей делать больно, а потом он её вообще забил до смерти.

– Это всё?

– Всё. Честное пионерское, – Катя подняла мокрые глаза и посмотрела на следователя. Честное пионерское слово придало ей немного смелости.

– Так, хорошо. А старик, который повесился, Никанор Крапин, он был с ним в сговоре?

– Не знаю.

– Опять увиливаешь? Юлить начинаешь? «Не знаю»! Это что за ответ? Это пионерский ответ? – следователь приближает лицо к Катиному, и мелкие брызги его слюны попадают ей на щёки.

– Они вообще не разговаривали, здоровались только, – отвечает Катя, снова опуская глаза.

– В глаза мне смотри! – жёстко требует следователь. – Значит, ты утверждаешь, что Крапин не был предателем?

– Я не знаю, – Катя поднимает глаза и жмурится от его хрипловатого голоса, который бьёт ей прямо в зрачки.

– А от чего же он удавился?

– Не знаю. Все ждали, что он на урок придёт, никто не думал, что он уже умер.

– А я знаю, отчего он удавился. Он был в сговоре с Ломовым, но в последнюю минуту испугался и удавился, потому что боялся Ломова, и советской власти, которая таким, как он, скорый конец готовит, тоже боялся. Мужества в его жалкой душонке никакого не было, да и какое мужество может быть у старого козла, одураченного буржуазными идеологиями? Мы ещё разберёмся, кто им позволил в детском доме детей учить. Старик был прихвостень реакции, с ним ясно, а Ломов – действительно бывший красный матрос, хоть и не пролетарий, но сила, в прошлом примкнувшая к революции, замаскировавшаяся, затаившаяся в её среде, чтобы потом нанести свой коварный удар. А ты молчала об этой кровавой банде, ты допустила их до открытого вредительства, и поэтому тебя можно считать пособницей. У твоей подруги Веры Вышкиной найден растительный наркотик сухой консистенции, и она призналась, что ты употребляла его вместе с ней. Это – правда?

– Я не понимаю.

– Траву курила с Вышкиной?

– Да.

– Так, хорошо. Кто ещё курил?

– Никто, только мы вдвоём.

– Значит так, Котова. Тебя переведут в интернат, где живут малолетние воровки, вредительницы и другие дети, которые хотят вырасти паразитами и обузой нашей советской стране. Но там из тебя, и из всех их сделают людей. Воронин! Девчонку накормить, поместить в изолятор, завтра утром чтоб Прошкин отвёз в интернат.

– Слушаюсь! – отвечает разлаженный молодой голос за Катиной спиной.

– Давай, Котова, двигай, – обращается к ней сухощавый и неожиданно с улыбкой коротко хватает Катю рукой в живот. Кате больно, но она только сжимает губы, боясь вскрикнуть.

Кормят её горячей овсяной кашей и куском хлеба, Катя не хочет есть, но съедает всё, не от голода, а от страха перед новым поворотом своей жизни. Детский дом казался ей пугающим приключением, а то, что теперь впереди, – тёмное здание с зарешёченными окошками, глухой внутренний дворик, засыпанный снегом, обсыпавшиеся, жёлтые стены – так представляла она себе интернат, потому что такой была старая тюрьма, которую она видела в Москве. Неужели она теперь будет жить в тюрьме? Лёжа на жёсткой койке в маленькой комнатке с единственным окошком в верхней части двери, Катя не спит и думает о судьбе. Она ведь не воровала, не хулиганила, никого не обижала, она ведь любила Сталина, Ленина и Мировую Революцию, она ведь мечтала о светлом будущем и была пионеркой, работала на субботниках, выпускала стенгазету, ходила по дворам с агитационными плакатами, помогала после занятий отстающим и сама училась хорошо. Может быть, во всём виноваты родители, предавшие Родину и Сталина, не хотевшие жить светло и счастливо в сияющей днями и ночами электрическим светом Москве, не хотевшие честно работать на благо народа, затянутые чудовищным водоворотом зла, околдованные, потому что не может же человек просто так взять и стать злым, когда все знают – это плохо, это гадко и противно – быть злым, это никому не нужно, и никто не хочет стать таким, и если ты всё равно становишься – значит, уже не думаешь, не понимаешь ничего, и потому Катя представляла себе врагов народа людьми, невидяще смотрящими перед собой, в полусне совершающими свои преступления, иногда они должны просыпаться, хоть на мгновение, и тогда весь ужас должен становиться перед ними, прежде чем сознание снова погрузится в бездну, они должны плакать тогда, и глаза их должны означать живую боль. Страшная сила зла потому может жить только извне и сама решать, в ком ей проснуться, это болезнь, от которой лечение долго и мучительно: десять лет тюрьмы, двадцать лет тюрьмы, и Катя слышала, что многие люди, даже бывшие коммунисты, отсидев несколько лет и вроде бы исправившись, потом снова брались за старое, так велика была

мощь вражеской силы в их сердцах, раз она могла проснуться вновь, полностью подавить железную волю коммуниста, погасить горящий в его груди огонь и заставить его служить делу тьмы, хотеть, чтобы в мире голодали дети и умирали бедняки. Но в самой себе Катя не замечала той страшной апатии, что неизбежно сопутствует человеку, ставшему послушной куклой зла, в себе она знала, что хорошо, а что плохо, значит, она не больна, её ещё не околдовало, однако если лечение уже началось, стало быть, семена болезни уже внутри, ей их не увидеть, а энкаведисты, постоянно сражающиеся со скверной, уже почуяли зло и гадость в её детской душе. Катя прижимает ладонь к сердцу, которое бьётся сейчас довольно сильно, и понимает, что проступками её были классовая слепота и ложь, а лгала она как другим, так и самой себе. Ни за что нельзя было быть слабой, потому что колдуны зла ждут этого непрерывно, они следят за тобой каждое мгновение, чтобы превратить тебя в животное, в злую обезьяну, не помнящую даже жадности и зависти, а только слепую ненависть к народу, только безумное, тупое желание вредить, разрушать, мешать человечеству расти и делаться лучше. Нельзя закрывать глаз, а она закрывала, нельзя делать то, что нельзя, а она делала, и подглядывать за товарищем Сталиным с облаков тоже, выходит, было нельзя, его хождение в маковых полях будущего оказалось государственной тайной, а не тайной их со Сталиным, эта тайна известна в органах безопасности, и не таким, как Катя и Вера, с их недоразвитым ещё классовым и историческим сознанием, лезть в будущее, ведь за ними туда могут пролезть и колдуны зла. От ужаса при этом открытии Кате делается совсем страшно, аж прошибло холодом, ей хочется немедленно завопить, позвать Воронина, разбудить следователя с уставшими от бессонной борьбы с мировым злом глазами и рассказать ему, что товарищу Сталину нужно отыскать себе другие поля, потому что теперь его жизни грозит опасность. Но Катя молчит, облизывая губы в темноте, потому что боится, что для неё найдут тогда наказание ещё хуже интерната, а НКВД всё равно, скорее всего, уже сделало правильные выводы из случившегося.

Так она и засыпает, а во сне ходит по тёмным московским дворам, потом бежит, потому что нечто страшное, чего она не видит, преследует её, потом она начинает замечать это то тут,

то там, но не может понять, что же оно такое, пока, наконец, в своём собственном подъезде, а может, просто в подъезде, как две капли воды похожем на её собственный, она не видит саму себя, выходящую из мрака, и понимает, что это именно она, а не просто девочка, похожая на Катю, как две капли воды, и от этой реальности, самой себя, думающей что-то другое и смотрящей на неё со стороны, Катя мучается ужасом, и липнет к холодной стене, и кричит, и хочет лучше умереть. «Не узнаёшь? – снова спрашивает до ужаса знакомый шёпот, проходящий сквозь камень, как через бумажный лист. – Это ты».

ЖИЗНЬ

Ранним, ещё едва брезжущим утром Катя сидит на деревянной лавочке сумеречного поезда, который мерно уносит её в незнакомую дождливую даль. Достаточно просто посмотреть на Катю, как она сидит, на её лицо, призрачно светящееся в вагонной глубине, чтобы заметить, как изменилась она за последние два месяца. Черты её стали взрослее и твёрже, в глазах стоит тонкий стеклянный слой, делающий их цвет тусклее и не дающий лучам Катиной души беспрепятственно выходить наружу, её тёмная дырявая одежда плотно застёгнута, как будто она может помочь Кате терпеть холод, руки сложены на коленках, одна рядом с другой, и ноги тоже составлены вместе, чтобы не пропускать сквозняк, идущий полом вагона из плохо прикрытых дверей. По стеклу перед Катиным лицом косо сползают вниз дождевые капли, в беловатой туманной пелене тянутся серые и светло-коричневые поля, телеграфные столбы, изредка попадаются стайки поселковых домиков, заслонённых облетевшими яблонями, тёмные болотные проймы, затянутые тиной, в которые вошли по колено заросли камышей, словно собравшихся сюда со всей окрестной земли, а потом наступает тёмный лес, сквозь который не видно больше ничего, сырой, замшелый и погружённый в тишину поздней осени, как в смертный сон.

Прошкин сидит рядом с Катей и курит папиросы, которые вынимает из своего рта крупными, посиневшими от холода пальцами, и дым папирос иногда проходит по Катиному лицу, но она дышит настолько мало, что дым ей не вредит. Один раз Катя немного поворачивает голову и глядит на Прошкина, на его волчье-серую от плохого бритья щёку, приоткрытый рот, где не хватает одного из передних зубов, на его выпуклые, как мутные белесые жёлуди, глаза, уставившиеся в стену вагона напротив, но не зрящие ничего. Вонючий дым протягивается мимо Катиных глаз, словно пыльца свинцовых ядовитых цветов, и она

снова начинает смотреть в окно, поезд сбавляет скорость, грохот суставов его затихает, и деревья скоро замирают за стеклом, бурые и сырые, как залежавшиеся в земле гробы. Здесь, на маленькой станции, Катя почему-то вспоминает свою мать, её голос и лицо, настоящими и живыми, а не такими, как в детдомовских снах. Она вспоминает, как мать целовала её на ночь, прижимаясь ртом к лицу, беря Катю ладонью за щёку, и дышала дочери в глаза, иногда она говорила ещё что-нибудь ласковое, признавалась Кате в любви, и от кожи её исходило такое нежное, трепетное тепло, что Кате становилось уютно и спокойно, все горести уходили в заросли дворовых лопухов, они становились лёгкими, как пух одуванчиков, дунешь – и их уже нет.

Поезд скоро трогается, и вместе с его покоем обрывается Катино воспоминание о матери, будто та провожала дочь в дорогу и теперь остаётся на станции, маша рукой, делается всё меньше и меньше, так было, когда Катя уезжала в пионерский лагерь, это была разлука щемящая и радостная от предвкушения новых впечатлений, целого лета впереди, а сейчас Катя может пережить её заново с безразличной печалью, будто сидит она на краю собственной могилы. Ей становится жаль свою мать, которая пела, расчёсывая Кате волосы и заплетая косу, её любовь к дочери канула в непроницаемые воды времени, и если даже она теперь вспоминает Катю и плачет о ней, всё равно исчез ток нежного тепла, согревавший некогда Катины глаза, чтобы не холодно им было смотреть в грустный простор наступающей осени.

Потом Катя вспоминает своих подруг, и московских, кажущихся несуществующими больше на свете, и лагерных, Марину, и детдомовских, она вспоминает их последний с Верой путь на машине в город, они спали, утомлённые событиями прошедшей ночи, просыпались по отдельности и глядели в окно, день был пасмурный, лица ехавших в машине окутывал серый полумрак, и тётя Клара, дремавшая рядом на кожаном сидении, видела свои последние сны, потому что это был их с Верой последний путь, последний путь вместе, они же не знали, что расстанутся навсегда и больше не увидят друг друга. Катя пытается себе представить, что бы они делали, если бы действительно знали, но не может.

Поезд проезжает несколько туманных городов, иногда на пути ему встречается мутная холодная река, бегущая среди полей

и составляющая радость Революции: ведь иногда у комсомольцев, которые ещё молоды, захватывает дух от необъятности свершений и творящихся в мире перемен, им кажется порой, что природа вот-вот рухнет, не выдержав скорости свободной человеческой мысли и мощи объединённого труда миллионов, а эта пролетарская река, продолжающая уверенно течь по привычному своему руслу, показывает собой, что природа верит человеку, переносит социализм и молча, сознательно начинает жить по-новому, хоть и не читает ни газет, ни книг, где написана вся правда, природа чувствует правду прямо в самой себе.

Интернат находится на окраине одного маленького городка, он стоит среди песков, насыпанных в лесу для строек будущего, когда сам интернат станет уже не нужен и уйдёт в жёлтый песчаный грунт, чтобы дать место жилым домам и светлым площадям. Интернат окружён высокой бетонной стеной, за которой ничего не видно, словно там ничего и нет, и вокруг него поднимаются и опускаются сыпучие холмы, создавая низины, овраги и русла мнимых рек, как проект нового рельефа, где не успели ещё посадить деревья и траву, а в русла не пустили ещё воду.

Катя с Прошкиным подходят к интернату пешком со стороны железнодорожной станции, сапоги их скрипят, давя мокрый песок, покрытый оспинами переменных дождей. Рядом с железными воротами есть запертая калитка, а за ней – сторожевая будка, где живёт клыкастый пролетарский старик, греющий железный чайник и глядящий на Катю с ненавистью, как на проклятого барона Врангеля. Прошкин проходит сквозь будку во вторую дверь, оставляя Катю стоять в гостях у старика, который подходит к ней и выпускает в лицо ядовитый махорочный дым изо рта. Катя морщится и зажмуривает глаза.

– Ишь ты, гнида, – гадко сипит старик, закрывая один глаз. – Не нравится?

Он резко и с ловкостью цапает Катю твёрдыми пальцами за щёку. Она отворачивается от боли, прижимаясь к стене.

– Гляди ты, какая цаца! – удивляется старик и щипает Катю в попку, его цепкие пальцы, как гусиный клюв, продавливают всю Катину одежду. – Политическая!

Старик снова щипает Катю, чтобы дождаться, пока она пискнет, но Катя не издаёт ни звука, она только сжимает зубы и

уворачивается от пальцев старика. Тот плюёт на пол и смотрит на неё, прижатую к стене, а потом идёт наливать себе горячую воду, потому что без горячей воды у старика, как у лягушки, не идёт уже от осеннего холода кровь в теле. Прошкин возвращается с русой, стриженой женщиной лет сорока, одетой в военное платье из гражданской материи, женщина берёт своей сильной рукой Катю за плечо, разворачивает её к себе лицом и осматривает.

– Меня зовут Ольга Матвеевна, – говорит женщина Кате. – Любое моё слово для тебя – приказ. Ясно?

– Ясно, – отвечает Катя.

– Личные вещи есть?

– Нет у неё личных вещей, – замечает Прошкин. – Детдомовская она.

– Очень хорошо. Вы свободны, товарищ Прошкин. Привет товарищам из НКВД. А ты следуй за мной.

Катя следует. Они выходят во двор, покрытый простой грязью. Посреди территории интерната стоит кирпичное здание высотой в два этажа, но этаж в нём, как потом узнаёт Катя, всего один, первый, а окна находятся на высоте второго. Возле здания стоят длинные одноэтажные постройки без всяких окон, их четыре, рядом с первой торчит из грязи деревянный сортир.

– Это бараки, ты будешь жить во втором по счёту, – говорит Ольга Матвеевна. – За бараками – столовая и прачечная, сейчас мы пойдём туда, тебе выдадут одежду, а сапоги у тебя, кажется, и так в порядке?

– В одном дырка, – говорит Катя.

– Это не страшно. Одежда государственная, обращаться с ней аккуратно. Все девочки сейчас на работе. Распорядок дня тут такой: в семь подъём, в семь пятнадцать – завтрак, в семь тридцать – политическое воспитание, в восемь – первая рабочая смена, в час – обед, в час тридцать – вторая смена, в шесть тридцать – уборка, в семь – ужин, в семь пятнадцать – занятия, в десять тридцать – отбой. Ясно?

– Ясно, – отвечает Катя.

– За любое нарушение распорядка дня следует наказание. То же самое – за нарушение дисциплины, воровство, драку, пьянство и прочее. Всё ясно?

– Всё ясно, – отвечает Катя.

– Посмотрим, как тебе это ясно, – говорит Ольга Матвеевна, отворяя дверь столовой. Тошнотворный запах супа сразу становится сильнее.

Катя голодна, но она с большим трудом заставляет себя съесть хотя бы половину поставленной перед ней тарелки слипшейся комками холодной каши, её тошнит всё больше, пока она, наконец, уже совершенно не может есть, встаёт со стула, и от этого движения рвота поднимается в ней, как вода фонтана, и выплёскивается на стол и на пол. Катя замирает, глядя на разлявшуюся лужу и не зная, что теперь делать. Так она и стоит, пока не приходит заведующая столовой, высохшая пожилая женщина, и не бьёт Катю тяжёлой мокрой тряпкой по голове, так что вонючая влага брызгает на Катино лицо и остаётся в волосах. Катя садится на стул, сжавшись и закрываясь рукой, а женщина швыряет тряпку ей на колени, чтобы Катя вытирала свою рвоту. Катя благодарна женщине за то, что та больше её не бьёт, она собирает тряпкой лужу и относит её по частям в помойный таз.

Так она начинает жить в интернате, и живёт там дальше, потому что больше ей негде жить. Кате отрезают косу, чтобы в неё не забрались на поселение вши, выдают поношенную заштопанную одежду и отводят спальное место в бараке номер два, который всего вмещает двадцать спящих девочек, по десять у каждой стены. В бараке никогда не зажигается свет и нет ни одной лампы, вечерами он освещается жёлтым пролетарским фонарём, который светит в маленькое окошко, находящееся в задней стене под потолком. Фонарь гасят сразу после отбоя, в его мажущемся свету девочки раздеваются и залезают под одеяла, а дежурная по бараку остаётся последней на ногах и затыкает окошко лишней подушкой, чтобы не дуло из треснувшего стекла.

Вставать надо ранним утром, когда ещё сумеречно, быстро одеваться, убирать постель и идти есть кашу, которая всегда на завтрак. Оказалось, что когда каша ещё горячая, Катя может её есть и её не тошнит, только хлеба ей не достаётся, потому что она новенькая, хлеб у неё забирает Зина. Зина – это рослая рыжая девочка, на два года старше Кати, она в бараке главная, часть девочек отдаёт ей свой хлеб, и она делит его между своими подругами, причём себе не оставляет почти ничего. Хлеб отдаётся молча и обыденно, словно это тоже записано в порядок дня.

Некоторым девочкам из дома приходят посылки, которые тоже сразу сдаются Зине, та вскрывает их, аккуратно вынимает и возвращает письма, а всё остальное никогда не отдаёт. На третий день по поселению Кати в интернат на постоянное жительство Зине приходит очередь дежурить, она подходит к Кате, убирающей постель, и говорит ей:

– Ты сегодня дежурная. После ужина – сразу чистить парашу, чтобы успела до занятий, а здесь убирать будешь перед отбоем.

Сортир Катя чистит медленно, потому что нет сноровки, ведро черпает мало нечистот, отвратительный запах иногда заставляет Катю выйти на улицу, чтобы отдышаться, а в конце работы она поскальзывается на железной лесенке из четырёх ступенек, ведущей к крышке ассенизаторной цистерны, и чуть не выливает содержимое ведра на себя, часть всё же выплёскивается на землю, и Кате приходится собирать грязный песок совком обратно в ведро. Она возвращается к сортиру снова на перерыве занятий, и после них, и оканчивает свою работу уже в темноте, бегом относит ведро в сарай и несётся мыть пол в бараке, при свете фонаря, руки у неё пахнут фекалиями, которые не удаётся смыть холодной водой. Она еле успевает закончить мытьё до отбоя, кладёт тряпку в ведро с грязной водой, вытирает мокрые руки о подол и несёт ведро выливать за цистерну, где земля поглощает каждый вечер нанесённую с неё же грязь. На улице очень холодно, потому что совсем близко ноябрь, небо не покрыто облаками, видно звёзды, и невысоко над забором, чуть в стороне от ворот висит большая круглая луна, такая белая, словно слеплена из свежего творога.

Катя сливает воду из ведра и ещё раз смотрит на луну прежде чем уйти, и только убедившись, что луна, как чёткая фотография, уже запечатлелась в её памяти, бежит назад, с одной тряпкой в пустом ведре. Возле сортира её окликает голос Зины, ходившей на ночь по нужде, и Катя останавливается в полутени, которую бросает угол барака в противоположную сторону от фонаря. Зина подходит к ней, не спеша, жёлтый свет падает ей на широкое лицо, рыжие волосы, стриженные до щёк, и поношенный великоватый ватник.

– Ты парашу плохо убрала, – тихо говорит Зина, голос её по-блатному поскальзывается на слове «параша».

– Почему плохо? – спрашивает Катя. – Я ж вроде убирала.

– Пойдём, сама посмотришь.

Они идут к сортиру по размашисто протоптанной сапогами девочек тропинке в грязи. По дороге Зина нагибается, зажигает спичку о сапог и припаливает вынутый из кармана окурок. Курит она молча и бережно, долго не выпуская каждую порцию дыма. Посередине сортира, между дырой в полу и дверью, лежит зловонная кучка говна, почти чёрная в негативном свете луны. Рядом с ней видна и разлитая моча, от которой поднимается лёгкий пар.

– Что это? – спрашивает Зина, оставаясь на пороге. Она затягивается окурком, сощуривая от усилия глаза.

– Это уже после того, как я убирала, – говорит Катя. – Видишь, парит ещё.

– Правильно, это я сделала. Только что.

Катя молчит.

– Чего стоишь? Убирай. А то до утра вонять будет. Куда пошла?

– Совок надо взять.

– Руками убирай, чего за совком таскаться.

– Зачем руками?

– Чтобы быстрее было, дура.

– Чтобы быстрее было, не надо было срать на пол, – говорит Катя, и тут же получает сильный удар кулаком в зубы, который отбрасывает её к стене, она выставляет вперёд локоть и больно бьётся им об отсыревшее дерево. Зина входит в сортир, наступая сапогом в лужу собственной мочи. Катя пытается увернуться от неё, но Зина хватает её за волосы. Она тушит окурок о Катину щёку, так что та взвизгивает от боли, и прячет его в карман.

– Срать было не надо? – говорит она чистым и спокойным голосом, после чего коротко бьёт Катю кулаком в живот, но не даёт ей согнуться, вытягивая вверх за волосы. Катя стонет от боли, зажмуривая глаза. Зина бьёт её ещё раз, потом коленом в низ живота, и отпускает. Катя сгибается и сползает боком по стене на колени. Зина берёт её за шиворот и протаскивает по полу к луже, и, присев и надавив Кате на затылок, вжимает её лицо в тёплую, гадко воняющую массу, потом отпускает и встаёт. Катя, плюясь, садится на колени, держится одной рукой за живот, а второй вытирает с лица кал.

– Ещё хочешь? – спрашивает Зина.

– Нет, – говорит Катя, чувствуя на губах вкус Зининых фекалий и вонь.

– Тогда давай убирай.

Катя тщательно сгребает раздавленную кучку руками и выносит её к цистерне, сдавленно дыша от сильной боли в животе. Кал не хочет отлипать от пальцев, ляпаясь кусочками в гниющую жижу под отверстием люка, и, чтобы избавиться от него, Катя вытирает ладони о железные края. Спустившись с лесенки, она приседает и моет руки и лицо мокрым песком. Плакать она начинает только теперь. Песок клеится к щекам, она вдыхает его в рот и выплёвывает обратно. Зина ждёт её возле сортира.

– Давай скорее, отбой уже давно, – тихо напоминает она. – Лужу можешь не вытирать, до утра сама высохнет.

Катя встаёт и отряхивается. Творожная луна всё так же светит ей в лицо. Луна находится далеко и, даже если Катя станет ей кричать, всё равно не услышит, поэтому Катя считает её глухой.

– Поди сюда, – говорит ей Зина, когда Катя проходит мимо неё. Катя вздыхает и нехотя поворачивается, затравленно глядя на свою мучительницу. – Поди-поди, бить не буду, – Зина стоит, облокотившись спиной на закрытую дверь сортира, руки её засунуты в карманы ватника.

Катя подходит, и Зина, вытащив руки из карманов, берёт её за плечи и прижимает к деревянной стене. Она смотрит Кате в лицо, а Катя поднимает глаза и смотрит на звёзды, чисто горящие высоко над землёй, ей холодно сквозь колготки, юбку, носки и дырявый сапог, живот ноет после ударов, на губах вкус кала и крови, сочащейся из оцарапанной о зубы внутренней стороны нижней губы, но Катя думает о том, что звёздам тоже холодно там, в открытой чёрной пустоте, где дуют сильные ветры, и сами звёзды, наверное, состоят сплошь изо льда. Зина начинает её целовать, нежно растопыривая губы и прижавшись к Кате всем телом, руками она по-прежнему держит Катю за плечи. Катя закрывает глаза от холода и распрямляет руки по стенке сортира, словно хочет уснуть.

– Тебя целовали мальчики? – спрашивает Зина шёпотом.

– Нет, – отвечает Катя. – Не целовали.

Пока она говорит, язык Зины облизывает её колеблющиеся губы.

– У тебя кровь.

– Ты же меня ударила.

– Прости меня, милая Катя, – шепчет Зина. – Ты ведь меня простишь?

– Да, – отвечает Катя. – Мне холодно.

– Мы сейчас пойдём. Поцелуй меня.

Катя открывает глаза и целует Зину в нос.

– Ты – ласточка, – шепчет Зина, и отстраняется от неё, облизывая губы. – Хочешь курить?

– Нет. Дым, он вонючий. От него кашлять хочется.

– Ты просто не привыкла, – Зина нагибается, зажигает спичку и продувает окурок, чтобы он разгорелся. – На, попробуй.

Катя всасывает из окурка едкое марево, давится и глухо кашляет. Из глаз её текут слёзы.

– Тссс, – прикладывает палец к губам Зина. – Макарыч услышит.

Катя сразу закрывает рот рукавом. Зина берёт у неё окурок и затягивается.

– Я у него окурок и стащила. Он же дымит, как паровоз, вещество не экономит.

Когда они подходят к двери барака, Зина бросает выжженный окурок и втирает его сапогом в грязь. Внутри, в тлеющей темноте безысходного ночного времени, она берёт Катю за запястье и шепчет:

– Разденешься – приходи.

Катя находит своё место, раздевается и ложится в холодное бельё, как в снег. Будущее видится ей опалённым белыми огнями звёзд до угольной черноты безлистых древесных ветвей, и сквозь него дует стирающий губы ветер, которому нет конца. Катя лежит в бесчувствии, пока не приходит Зина.

– Подвинься, – шепчет она, становясь коленями на Катину постель. – Что же ты не приходишь, я тебя ждала.

– Зачем? – спрашивает Катя.

– Зачем? Целоваться, вот зачем.

– И не надоело тебе ещё?

– Так мы же ещё не целовались по-настоящему.

– По-настоящему – это как?

– В писю, в попу, вот как. Ты такого не знаешь? Сейчас узнаешь.

Когда Зина выскальзывает из-под одеяла, чтобы уйти спать, Катя остаётся лежать в темноте, покрытая пятнами чувственных воспоминаний. Она вспотела, и волосы все перепутались, ртом и руками она всё ещё ощущает тело Зины, голое, щекочущее и тёплое, лишённое того пугающего металлического жара, каким отдавала кожа мёртвой Саши. Она знает теперь, ладонями, пальцами и ртом, какие у Зины соски, как меняют они температуру, плотность и влажность, как изменяется форма её груди, что у неё под мышками, она знает прыщики на её бёдрах, с тыльной стороны, и какого вкуса то, к чему она никогда бы не подумала прикасаться ртом. Но Зина тоже прикасалась, это было так глупо, что хотелось смеяться, но потом Зина начала делать ей пальцами больно, и было уже не смешно, а как-то дико, мучительно сладко. Вспоминая всё это, Катя стыдится и не может уснуть, она всё пытается себя убедить, что они с Зиной просто делали вместе то, что нельзя, но сама в это не верит, потому что совсем по-другому, по-новому мучилась только что её душа.

Утро приходит неизменным, со своим полусонным подъёмом и умыванием во дворе, у железного крана, когда холодная вода обжигает кожу, ещё хранящую тепло несбывшегося сна, но теперь у Кати есть что-то особенное, тут, внутри, куда никто не может заглянуть, оно греет её, свернувшись калачиком под сердцем, и лижет своим ласковым языком, тайно и любяще, как лизала её ночью Зина.

Работают интернатские девочки в том самом кирпичном здании, которое Катя первым увидела по своём прибытии. Оно располагается в середине территории, являя собой единственный допустимый смысл существования узниц воспитательного учреждения, иначе они стали бы бесполезными паразитками, томящими шею советского народа. Кирпичное здание, наполненное швейными столами, где девочки шьют и кроят простую одежду и постельное бельё, позволяет им отрабатывать кашу, которую они едят, и воскресный суп с картошкой, и чай без сахара, и кипячёное молоко в металлических кружках, которое им дают на ужин вместе с парой сухарей. Катя быстро привыкает к однообразной работе, которую выполняет часами напролёт, не думая больше ни о чём, потому что, если задумаешься, можно допустить брак, а за это наказывают, так пару дней

назад одну девочку из третьего барака посадили на ночь в сарай у дальней стены, а там, говорят, холодно и живут крысы. После той ночи девочка осталась жива, но каждый раз, видя проверяющую труд Надежду Васильевну, полноватую женщину в гимнастёрке, с сытым лицом, будто сделанным из хорошего теста, и выпирающими из её подтянутой фигуры грудями, та девочка дрожала, потому что вспоминала, наверное, крыс. Собственно, грудь – это элемент, раздражающий саму Надежду Васильевну, потому что она есть существо полностью сознательное и чётко проводящее линию на служение делу народа и справедливости путём перевоспитания трудных детей, а грудь ей при этом получается вроде как ни к чему и даже вредна, так как призвана обращать на себя внимание мужчин и способствовать неуместной в данных обстоятельствах любви. Поэтому Надежда Васильевна старается забыть о собственной груди, как о бродящих в небе кометах, чуждых до времени делу социалистического строительства, но грудь всё равно лезет вперёд, тесня одежду своей нездоровой сытостью, и Надежда Васильевна расстраивается о ней, а в бане даже вздыхает, утирая слёзы, над необузданностью плоти, тугой, как весёлый бахчевой овощ.

Катя, теперь познавшая другого человека с такой же животной стороны, как знала раньше только саму себя, замечает отныне эту сторону во всех живых людях, любую женскую личность может она представить себе раздетой и почувствовать вкус и запах её тела, или вообразить её при исправлении естественных потребностей, или делающей то, что нельзя. И вскользь увидев на производственном рассвете ещё пуще раздувающее себя от дыхания вымя Надежды Васильевны, Катя сразу начинает думать по этой линии, думает и забывает на какое-то время отвести глаза, лишь заметив, что Надежда Васильевна тоже смотрит ей в ответ, она опускает взгляд к своему шитью.

– Чего пялишься? – спрашивает Катю Надежда Васильевна. – Делать больше нечего?

Катя сразу видит несколько крыс, нюхающих ей носки сапог прежде чем начать суетливо их грызть.

– Я тебя спрашиваю, чего пялилась?

– Извините, пожалуйста, Надежда Васильевна, – говорит Катя, поднимая глаза. – Я просто так смотрела.

Надежда Васильевна подходит к столу, где сидит Катя и ещё три другие девочки, и наблюдает, как Катины руки колют иглой плотную, неясного цвета ткань. Постояв немного, Надежда Васильевна с размаху даёт Кате подзатыльник и уходит, развернувшись на каблуках, пока Катя ещё, пригнувшись к шитью, ожидает следующего. Потом Катя снова выпрямляется, подавив выступающие слёзы, и продолжает шить, но через некоторое время осторожно, словно Надежда Васильевна может подслушать, представляет себе надзирательницу при исполнении низкой животной потребности и этим ей мстит. Через несколько часов работы, уже дважды уколовшись иглой и переделав одну заготовку с начала, Катя забывает свою обиду, а Надежда Васильевна в обеденный перерыв, стоя у сторожевой будки с папиросой, напротив, вспоминает лицо Кати, индивидуальность которой для неё ничто, а тело её и сознание – только рядовой кадровый материал, но в лице девочки Надежда Васильевна заметила некую неординарную дикость, созданную не чувством, а просто природным соединением черт, и решает, что в надвигающемся великом празднике годовщины Социалистической Революции Катя будет читать стихотворение, в то время как более сознательный комсомольский элемент поднимет на фонарный столб торжественный красный флаг.

Пальцы Кати ноют от множественных уколов иглы, к обеденному перерыву они уже плохо подчиняются, и шов идёт неровно, материя не желает стягиваться ниткой, а стремится лежать свободно и нетронуто. В ней, не имеющей никакой собственной жизни, всё же заключено еле заметное равномерное тепло, едва касаешься её кончиками пальцев, они немного согреваются, и Катя считает это тепло принадлежащим тем незнакомым, но хорошим женщинам, ударницам социалистического труда, которые соткали материю на больших заводах из растительных стеблей, в каких, как известно, вовсе нет тепла, только сырость, выступающая росой, и холод земляного сока. Поэтому Кате жалко прокалывать материю иглой и стягивать нитками, уязвляя, таким образом, простое существование добра, ей кажется, что по нитке проходит для материи боль, и она стремится побыстрее закончить шов и откусить. В швейном зале лежит обычно шуршащая тишина усердия, никто не шепчется, только иглы протыкают ткань, посипывая, втягиваются швы, иногда глухо лопается

откушенная кем-то нить. Зина сидит так, что Катя может её увидеть, немного скосив глаза, но самой Зине, чтобы увидеть Катю, нужно повернуть голову, и она никогда не делает этого, ни разу за весь день. Даже во время перерывов они не разговаривают, а когда Зина встречается с Катей взглядом, лицо её неподвижно, глаза холодны, и только губы совершают небольшое движение, чуть приоткрываются, дышат и смыкаются вновь, и в этом коротком движении содержится вся связь между ними, вся нечеловеческая, животная нежность, влекущая их друг к другу.

Проходит день за днём, шов ложится ровнее, усталость становится привычной, как голод, и Катя сама удивляется своей способности терпеть и ко всему привыкать. Она привыкает и к ночным занятиям с Зиной, настолько, что устраняется её бережное удивление перед чужим телом, их игра грубеет, в ход часто идут сложенные пальцы и зубы, остаются синяки, следы укусов и царапины от ногтей. Однажды, вновь мучаясь и дёргаясь в удушающем потоке, падающем навстречу, как беспросветный дождь, Катя не видит и не слышит, а только следит за функцией своего тела, сжимающегося и передавливающего самое себя мягкой кровью, и растущее неистовство представляется ей чёрным деревом, возносящимся из её живота на бесконечную высоту, и на нём сидят все птицы, и звери, и насекомые, даже рыб и червей вынесло на его ветви из почвы, а людей на нём нет, и нет их на всей земле, одни кости в могилах, и от такого знания Кате становится страшно и радостно. Потом, оставшись одна и уже наполовину провалившись в давящий бессознательный туман, она понимает, что это зло говорит с ней, это та, другая, слившаяся теперь с её душой в одно, уже не нуждается в словах, она даёт Кате сразу свои чувства, и уже не различишь, где чьи. Катя, свернувшаяся клубком на боку, сжимает руками мятую наволочку, облизывает пахнущие Зиной губы и ощущает в себе ту, другую, а та, другая, ощущает её.

Этими стылыми вечерами осени ей думается часто про чужую жизнь, какой она существует за пределами возможности понять, про бескрайние кромешные леса, про страх незнакомых детей перед школой, про сиплый крик призрачных петухов, про неживые электрические огни огромных строек, ей вспоминается товарищ Ломов, пускающий струю в ледяной мрак, как в чёрное озеро без дна и воды, и окровавленные голые

ноги Саши, растопыренные, как ручки плоскогубцев, и окна спящих московских домов, застеклённые мазутом, и морозный свет сквозь изрешёченное окошко сторожевой будки, где лежит Макарыч, ни жив, ни мёртв, закутан в старую шинель, оскаливаясь, травит папироску, звёзды идут над ним, как далёкие отары овец, кошачьи шкурки сушатся над печкой – Макарыч приманивает их на хлеб с молоком и бьёт прикладом, чтобы не пропала с них шерсть, – и за стеной, в песчаных холмах словно стонет и всхлипывает кто-то, которого нет.

В день пролетарского праздника, дня Великой Революции, каждой девочке выдаётся медовый пряник к завтраку, швейная работа отменяется, потому что по случаю торжественного дня по всей стране введён культурный трудовой отдых, вместо неё объявляется коммунистический субботник по уборке территории и зданий интерната. Целый день не приходят дождевые облака, солнце на небе проводит активную линию по освещению своими золотыми лучами подлежащих исправлению недостатков, и девочки усердно метут сор, моют полы и окна, таская взад-вперёд вёдра со слепящей солнечной водой, стирают пыль с подоконников, чистят кухонную трубу, а одна бригада даже забирается на крыши бараков и гонит оттуда вениками на песок клубы особой, неясного происхождения, серой земли.

К вечеру в интернат прибывают на машине два человека в военной форме, один из них седой, а второй помоложе, с круглыми щеками и усатый. Население интерната выстраивается несколькими рядами во дворе, перед входом в швейный цех, и слушает через громкоговоритель на фонарном столбе поздравление товарища Сталина по радио, а потом помощница Надежды Васильевны, комсомолка Галя Волчок поднимает на бечёвке красный флаг, большой, настоящий, и он сразу начинает полоскаться на ветру, как все флаги, потому что даже сюда, на территорию интерната, распространяется советская власть и забота товарища Сталина, даже они, маленькие предательницы Родины, выстроившиеся в темнеющие сквозь сумерки ряды, переминающиеся с ноги на ногу от ноябрьского холода, чувствуют на себе её доброту, согревающее пламя её алого огня, которым горит в эти минуты вся страна, и тогда Катя, стоящая отдельно под флагштоком, говорит:

Раньше солнца, раньше света
Прозвучало слово это –
Зов грядущих поколений,
Имя радостное – Ленин!
День и ночь горнила дышат,
И луна и солнце слышат
Звон горячих наковален,
Ленин – Сталин! Ленин – Сталин!
Сталин! Правда твоих книг
Не умолкнет ни на миг!
Нет покоя никогда
В светлой кузнице труда!
День и ночь горнила дышат,
И луна и солнце слышат
Звон горячих наковален,
Ленин – Сталин! Ленин – Сталин!
Бей рабочий от плеча,
Слышишь слово Ильича!
Слово Ленина зовёт,
Мудрость Сталина ведёт!
День и ночь горнила дышат,
И луна и солнце слышат
Звон горячих наковален,
Ленин – Сталин! Ленин – Сталин!

Все хлопают, особенно усатый, и девочки хором запевают Интернационал, они поют что есть силы знакомые им с детства слова, у многих на глазах слёзы, от холода и от чувств, они поют ясно и хорошо, как большая нотная машина, и Катя, стиснув руки в кулаки, сама удивляясь природе своего голоса, словно песня ожила в ней и дышит сама через Катин рот, такая, какой должна она быть, и никакое зло не может её заглушить, потому что всё, что поёт Катя, есть единственная и чистая правда. Узницы интерната поют непрерывно, три раза подряд, не давая мелодии ни остыть, ни ослабнуть, Надежда Васильевна тоже поёт, и стоящая возле неё Ольга Матвеевна, и Галя с бечёвкой в руке, и Макарыч хрипло подвывает из своей будки, приняв по случаю праздника двести граммов спирта, и Валентина Харитоновна, заведующая хозяйственной частью, подбавляет тонким козьим голоском,

перетаптываясь чищеными холодными сапогами по песку и отирая рукой нос, и гости тоже поют, усатый громко и покачиваясь, а пожилой хрипло и почти неслышно. Пока длится песня, наступает полная тьма, зажигается фонарь, распугивая сгустившиеся было звёзды, и охрипшая Ольга Матвеевна произносит речь о трудовой сознательности и исправлении допущенных ошибок, о любви к товарищу Сталину и заботе Родины, о пророческом даре Ленина и штурме Зимнего Дворца, закономерно ставшем концом Вечной Зимы человечества. Все снова хлопают, особенно усатый, он даже снимает перчатки, а поседевший не снимает, он уже старый и его плохо греет собственная кровь.

Потом все идут в столовую пить чай, усатый раздаёт девочкам из вещевого мешка по конфете, в столовой довольно холодно и сумеречно, светят три керосиновые лампы, все сидят в одежде, и Ольга Матвеевна объявляет, что сейчас боевой комиссар Гражданской войны расскажет о славных временах великих подвигов во имя победы революции, седоватый откашливается, смотрит на обращённые к нему бледные, голодные детские лица и начинает говорить, он и дальше часто кашляет, снедаемый болезнью как наследием суровых годов становления Страны Советов, а говорит о митинге, на котором он лично видел товарища Ворошилова, о своих боях за Уралом, о ранении в живот, после которого еле выжил, и о своём товарище Федьке, погибшем от белочешской пули, как Федька упал, и он зарыл его в снег, надеясь, что советская власть оживит, когда придёт время, силой научного электричества всех погибших за неё солдат, а до того времени, пока электричество нужно советской власти для разгрома интервенции и белой контрреволюции, лежать Федьке на сохранении в снегу, в замороженном виде, но враги откопали Федьку, и он сгнил, и много других красноармейцев сгнило в лесах и полях, не дождавшись мощи свободного электричества, способного быть, как знают теперь все из газет, и кровью, и силой человека, и даже его умом. Только совестью и честностью электричество стать не может, это философская проблема, над которой давно бьётся наука, но тщетно, не могут произвести совесть в лаборатории, и потому капиталистам не победить советскую власть её же оружием, ведь негде врагам взять чистоту души и энергию незапятнанной совести. И множество другого опыта классовой борьбы передаёт старый красногвардеец интернатским

девчонкам, и становится понятно, что он твёрдый, несгибаемый ленинец и верный пёс трудового народа.

Когда седой гость устаёт и часто, надрывно кашляет перед собой в стол, Ольга Матвеевна хлопает, и все вслед за ней, а потом включают радио, по которому передают праздничные песни, и Ольга Матвеевна выходит с гостями во двор, а Надежда Васильевна предлагает девочкам танцевать под радио. Танцуют парами, и Катя впервые может открыто, на виду у всех, обняться с Зиной и увидеть близко к себе её лицо, обычно совершенно скрытое ночной темнотой. Зина шепчет ей на ухо, они смеются и толкают встречные пары, в столовой тесно танцевать, и Катя с Зиной, как и другие, вылетают на улицу, под конус жёлтого фонаря, и кружат по песку, испещряя его следами сапог.

Гости стоят неподалёку, курят, седой запахивает рукой воротник на горле и улыбается чему-то своему, усатый смеётся, притоптывая ногой, ему визгливо вторит Валентина Харитоновна, а Ольга Матвеевна не смеётся, она пустоглазо смотрит в песок, машинально убирая рукой папиросу ото рта, и сбивает пепел указательным пальцем. Покурив, гости собираются уезжать. Седой прощается с девочками, он уже почти не может говорить, пыль походов разъедает ему горло, он только кивает и машет устало рукой в тёплой перчатке. Одна из девочек целует его, поднявшись на цыпочки, потом смущённо отходит в сторону, и тут все начинают подбегать к нему и целовать. Усатый хохочет, притоптывая ногой, ему визгливо вторит Валентина Харитоновна, поцеловав красного комиссара в бритую щёку, Катя чувствует странный его запах, химический аромат лекарств и жжёный дух больного горячечного тела. Некоторые целуют героя даже два раза, и ему приходится отступать к будке, где скалится за решёткой окна неусыпный Макарыч, как обезьяна в клетке, и Надежда Васильевна заслоняет седого от лезущих к нему девочек, насильственно прекращая стихийную демонстрацию нежности. На прощанье комиссар ещё раз машет из машины рукой, дверца захлопывается, и мотор рычанием заставляет колёса разбрасывать песок, железные ворота со стоном смыкаются, вновь оставляя детскую толпу на тёмном острове, отгороженном от всего мира камнем высоких стен.

Радио умолкает, девочки печально собираются в очередь у сортира. Катя стоит с краю, заслонённая стеной барака от фонаря, что даёт ей возможность хорошо видеть звёзды, просыпанные

в небе, будто должна скоро прийти большая серебряная птица и склевать их для своей сытости.

– Вот ты где, Котова, а я тебя всюду ищу, – говорит вдруг над ней голос Надежды Васильевны. – Пошли к начальнице.

Катя вопросительно смотрит в холодные глаза Надежды Васильевны, но там нет ответа, и тогда Катя понимает: что бы ни случилось, пощады не будет. Надежда Васильевна молча поворачивается и идёт прочь, и Катя плетётся ей вслед. К Ольге Матвеевне. Это крысы, крысы. По пути её постепенно пробирает дрожь, и когда они проходят мимо второго барака, у Кати уже зуб на зуб не попадает.

– Я что-то плохо сделала? – робко спрашивает она, не в силах больше выносить гнетущую кладь неизвестности.

Надежда Васильевна молчит, засунув руки в карманы своего военного полушубка, шаги её тяжелы, и Катя понимает, что Надежда Васильевна пьяна. – Я что-то сделала не так? – снова спрашивает Катя, и сердце снова замирает у неё в груди. Она уже и не думала, что её сердце сможет так замирать, но страх глуп и всё ещё живёт в ней, несмотря ни на что. Надежда Васильевна не отвечает Кате, она смахивает волосы рукой со лба, покачнувшись на повороте, опирается той же рукой о стену цеха за углом, но удерживается и идёт дальше. Так они приходят к каменному строению с начисто выметенным крыльцом, над крышей которого течёт река дыма, заслоняя своим потоком сияние звёзд. Катя ещё никогда не была внутри, там страшно и тепло, хорошо натоплено печкой, из глубины комнат слышится музыка, бархатный женский голос поёт о любви и цветущих весенних садах. Надежда Васильевна стучит в одну из дверей, приоткрывает её, берёт Катю за плечо и вталкивает её перед собой внутрь. Катя спотыкается о порог, хватаясь рукой за дверной косяк, и видит стол у окна, накрытый скатертью, на нём тарелки и бутылки, сбоку от стола застеленная серым одеялом кровать, рядом с ней полированный комод с двумя дверцами, на комоде стоит горящая керосиновая лампа и лежат стопки книг, на стене висит портрет товарища Сталина. Катя останавливается взглядом на лампе, которая лучится ярким потусторонним светом, словно всё находится где-то глубоко под землёй. Она боится смотреть в другую сторону, где стоит у окна, закрытого белой гардиной с инеевой вязью, приближенная к высшим силам Ольга Матвеевна.

ПАЛЬЦЫ СМЕРТИ

Дверь затворяется за Катиной спиной, и наступает молчание. В молчании горит керосин, бьётся Катино сердце, и играет за стеной патефон, грудной женский голос продолжает петь о потусторонней жизни, окрашенной в густой белый цвет, будь то снег или цветущая черёмуха. Ольга Матвеевна стоит неподвижно и беззвучно, она как будто и не дышит, воздух не совершает движения в её пустых дыхательных путях, а просто замер там, подобно затекшей внутрь воде.

– Садись на стул, – наконец произносит Ольга Матвеевна. Голос её идёт в другом направлении от Кати, куда-то в стену. Катя находит перед собой стул, отодвигает его и садится, опустив глаза. Скорее бы уже всё кончилось.

– Посмотри, там на столе еда. Хочешь – поешь.

Катя смотрит, куда велено, и видит нарезанные куски ветчины и хлеба, нечищенные яйца, красное яблоко, пару солёных огурцов и наполовину полную бутылку водки. На отдельной тарелке лежит яичная скорлупа и несколько огрызков от уже съеденных яблок.

– Что же ты не ешь? – спрашивает Ольга Матвеевна отрешённым, красивым голосом. Катя берёт кусок хлеба, кладёт на него ветчину и откусывает от образовавшегося бутерброда полным захватом рта. Едва успев прожевать и проглотить, она кусает снова, давясь, и таким образом быстро запихивает в себя еду.

– Голодная, – произносит Ольга Матвеевна, словно дивясь, как это Катя ещё может быть голодной. От этих слов у Кати кусок застревает в горле.

– Вкусно?

Катя кивает, вытирая рукой рот.

– Ещё хочешь? Ты хорошо жрёшь, – Ольга Матвеевна подходит и садится на второй стул. – Любишь жрать? Дети любят жрать. А срать любишь? Что молчишь? Срать любишь, спрашиваю?

– Нет, – говорит Катя.

– Почему? Тебе что, больно, когда ты срёшь? Отвечай.

– Нет. Может, иногда.

– А если тебе не больно, отчего ты не любишь срать? Отчего, Котова, дети так любят жрать и так не любят срать? Разве срать нехорошо? Посмотри мне в глаза.

Катя смотрит на Ольгу Матвеевну. Та сидит за столом, уперев в него локоть и уткнув щёку в ладонь. Лицо её перекошено от такого способа сидения. Глаза Ольги Матвеевны, в которые она требовала посмотреть, пусты и неживы. Катя тяжело вздыхает.

– Так что, Котова? Не знаешь? А ведь это так просто. От сранья нет никакой пользы, но все всё равно срут. И ты срёшь, и я сру. Поняла, что я имею в виду? Ничего ты не поняла. Становись на колени. Быстро.

Катя поспешно встаёт на колени, прямо возле стула.

– Ближе ко мне. Подползи ближе. В церкви была когда-нибудь?

– Нет.

– Тогда возьми вот, – Ольга Матвеевна протягивает Кате сложенный вдвое листик в клеточку. – Читай.

Катя раскрывает листик. На нём круглым, завивающимся почерком написаны карандашные слова. У Кати всё расплывается перед глазами, и она не может понять, что написано. Пластинка за стеной умолкает.

– Читай, дура.

– Слава тебе, потому что ты начальствуешь над всем, и даёшь всему жизнь и свет, и не было бы ничего без тебя, и нет ничего лучше и справедливее тебя, ты чище неба и светлее солнца, о, милый Боже... Спасибо тебе за то, что ты есть, и что ты любишь меня, а я люблю тебя больше всего на свете, и кровь свою отдам тебе, и душу отдам, всё отдам тебе, потому что всё это твоё.

– Плохо читаешь. А стихи ты читала хорошо. Давай ещё раз.

Катя прочитывает написанное снова, стараясь читать лучше.

– Ну и, – говорит Ольга Матвеевна, – о ком это всё? Ты поняла?

Катя кивает, поднимая на Ольгу Матвеевну покорный взгляд. Наверное, её всё-таки когда-нибудь отпустят.

– И о ком же? – Ольга Матвеевна устало смыкает веки и размыкает их вновь.

– О товарище Сталине.

Ольга Матвеевна срывает свободную руку с юбки и, размахнувшись, бьёт Катю по лицу. Катя пытается увернуться, но удар всё равно сильный, так что она чуть не падает с колен.

– Дура, – коротко и зло говорит Ольга Матвеевна. – При чём здесь товарищ Сталин? В глаза мне смотри, а то хуже будет! Знаешь, что хуже?

– Крысы, – говорит Катя.

– Правильно. Большие, жирные крысы. Они очень любят жрать. Они очень кусачие. Когда ты уснёшь, они будут откусывать от тебя мясо. Так о ком это, дура?

– Может... О Боге?

Ольга Матвеевна хватает Катю рукой за волосы, что ей удаётся только со второй попытки, и наклоняется к ней лицом. Лицо её, плоское и широкое, словно вырезанное из круглой кости, кажется Кате огромным, как морда сверхчеловеческой совы.

– О Боге? О каком Боге? О каком Боге, я тебя спрашиваю?

– Я не знаю! – взвизгивает Катя, больше от страха, чем от боли.

– Тссс! Что ты верещишь, пакость, – переходит на шёпот Ольга Матвеевна. – Ещё один крик – и пойдёшь к крысам! Запомни, дура, уродка проклятая, запомни, падаль недоношенная, Бог – это я. Понятно? Понятно тебе, сволочь?

– Понятно, – тихо соглашается Катя, зажмурившись от ужаса.

– Хорошо, – Ольга Матвеевна отпускает Катины волосы и уводит своё лицо вверх. – А ты знаешь, кто такой Бог?

– Нет, нам в школе говорили, что Бога нет.

– Значит, ты атеистка? Считаешь, что Бога нет? Есть Бог или нет?

– Простите, Ольга Матвеевна, простите меня, пожалуйста, – Катя начинает плакать, слёзы сбегают по её лицу, как тёплые муравьи. – Я больше не буду, я всё буду делать только так, как вы хотите. Вы скажите только, я всё буду делать, как вы скажете...

– Заткнись, – выпятив подбородок, коротко говорит Ольга Матвеевна. Катя умолкает и только всхлипывает. – Раз ты не знаешь, кто такой Бог, я покажу тебе. Хочешь?

– Да, – покорно соглашается Катя.

– Тогда читай ещё раз. И помни, о ком читаешь.

Катя вытирает слёзы и снова начинает читать, иногда прерываясь от тихих спазмов плача. Листок дрожит у неё в руках.

Одна слезинка капает сверху на чистый участок ниже текста, расплывается бесцветной кляксой и нарушает клеточки. Кончив читать, Катя вытирает глаза и стоит на коленях с дрожащим листком в руках. Она непрерывно молится про себя, чтобы Ольга Матвеевна отпустила её в барак.

– Ещё раз? – робко спрашивает она.

– Хватит. Поднимись и сядь на стул.

Катя делает, что велено, и Ольга Матвеевна встаёт, снимает с себя гимнастёрку, расстёгивая все без исключения пуговицы. Потом она через голову снимает майку и остаётся в одном лифчике голой по пояс. Так она подходит к сидящей на стуле Кате, которая боится даже смотреть на весь этот ужас, а просто дрожит, сжав вместе ноги и схватившись руками за сидение. Ольга Матвеевна начинает гладить руками Катино лицо, волосы, шею, руки у неё тёплые и ласковые. Она поворачивает лицо девочки вверх, целует его, проводит языком по губам, носу, щеке и закрытым глазам Кати, которая удивляется, что от Ольги Матвеевны совсем не пахнет спиртом. Потом руки Ольги Матвеевны отпускают Катю, она слышит, как тихо выдыхает отпускающий натяжение лифчик, и потом его плотная шёлковая ткань оказывается на Катиной шее и сильно затягивается назад. Катя не успевает даже понять, что происходит, когда в глазах её темнеет, и ей становится нечем дышать. Она беспомощно ищет руками душащую ткань, хватая вместо неё свою собственную одежду, пытается попросить пощады, но в горле её уже практически нет воздуха, она только тихонько сипит, широко открывает глаза и тупо смотрит на Ольгу Матвеевну, которая улыбается ей нежной, таинственной улыбкой, лишь поверхностно затрагивающей губы. Катя плохо видит Ольгу Матвеевну в опускающейся темноте, тело её начинает дёргаться само собой, стукая ножками стула, но Ольга Матвеевна держит стул своей тяжестью, медленно затягивая лифчик одной рукой и прижимая голову девочки к своей голой груди. Черты лица Ольги Матвеевны видятся Кате нечеловеческими и ужасными, хотя совершенно не изменились, всё так же мягко очерчены и просты, как раньше. Катя ударяется коленями в стол и, резко повернувшись телом, пытается слезть со страшного стула, превратившегося в станок смерти, но сила Ольги Матвеевны тянет её обратно, а снова вырываться у Кати не хватает уже воли, она теряет себя и только чувствует, как её сапоги сами стучат в пол, и видит перед

собой Бога, огромного мохнатого пегого слона с забрызганным кровью рылом, и из рыла выходят два укороченных, мохнатых хобота. Катя, что есть силы, раскрывает рот, но воздуха нет, словно Бог высосал его весь дырками своих хоботов.

Вдруг давящая боль ослабевает, и воздух прорывается ей в грудь. Катя дышит, жадно, поспешно, пока Бог не решил снова забрать воздух себе. Слон ревёт, глухо и тяжело, Катя трогает руками свою шею, на ней ничего нет, только болящие следы, оставленные пальцами смерти.

– Ну что, видела Бога? – спрашивает Ольга Матвеевна.

– Да, – отвечает Катя, сглотнув от боли.

– И какой Он?

– Страшный.

– Правильно. Можешь идти, Котова. Я назначила тебя тут убирать, завтра придёшь в девять сорок. И если кому-нибудь хоть слово скажешь о нашем разговоре, отправишься к крысам. Ясно?

– Да, Ольга Матвеевна.

На следующий день Катя не может ни шить, ни есть, ни слушать уроки, потому что боится идти вечером к Ольге Матвеевне, потому что боится, что пальцы смерти на этот раз могут не разжаться. В девять тридцать вечера Катя бесчувственными руками вытаскивает к колонке ведро, которое нужно наполнить водой для мытья полов. Пока вода со звоном бьёт по алюминию, Катя кутается в казённый ватничек, мечтая провалиться куда-нибудь под землю и замереть там, так надолго, чтобы все про неё забыли. Воде всё равно, её не станут мучить и душить, и песку всё равно, и другим девочкам тоже, вот они выстроились в очередь к сортиру, кто курит, кто смеётся, кто просто смотрит перед собой, и это глядение, раньше казавшееся Кате таким скучным, теперь желанно ей, вот так бы стояла хоть всю ночь и глядела, только бы не быть собой. За обедом она встретилась глазами с Зиной, взгляд у Зины был холодный и мутно подрагивающий, как вода. Возвратившись вчера ночью в барак, Катя сказала Зине, что у неё сильно болит живот от куска барской ветчины, полученной за чтение стихов, но Зина не поверила, трогала ей живот рукой и нюхала Кате зачем-то лицо, хотя потом всё же ушла к себе, и Катя слышала в тишине барака, как она сильно, с козьей монотонностью возилась под одеялом, делала то, что нельзя.

Увидев, что ведро уже полно, Катя хватает его и волочит к дому ужаса, не останавливаясь ни на миг, стиснув зубы, смахивая пряди волос с глаз, она неловко вскарабкивается по ступенькам крыльца, часть воды выплёскивается на пол, но Катя, совершенно отупевшая от своего страха, не обращает на это внимания, проносится по коридору к швабре, наматывает на неё тряпку непослушными пальцами и стукает в закрытую дверь, из-под которой пробивается узенькая полоска света.

– Да? – говорит голос Ольги Матвеевны. – А, это ты, Котова, заходи. Подмети только сначала, тут песка много, Макарыч нанёс. Всё старик по барханам шляется, зверей своих ловит. Знаешь, кто он такой? Чего молчишь с веником? Обиделась на меня, что я тебя вчера душила? Обиделась?

– Нет, Ольга Матвеевна.

– И правильно. Я же тебе просто показать хотела то, чего ты не знаешь. Ну, мети, мети. А Макарыч – вонючая старая сволочь. Ты запомни это. Никогда не связывайся с такими, как он. Пойди сюда. Ну, пойди же.

Катя нерешительно подходит к Ольге Матвеевне. Та обнимает её, не вставая со стула, и прижимает к себе, целует в лицо.

– Ты такая хорошая, – шёпотом говорит Ольга Матвеевна в перерывах между поцелуями. – Я тебя так люблю, ты не бойся, я не буду тебя больше лифчиком душить. И если ты будешь слушаться, я тебе буду давать мясо, и картошку, и помидоры, и даже... грушу. Ты любишь груши?

– Да, – прошептала Катя, постоянно ожидая, когда её начнут мучить.

– Любишь груши... Послушай, тебя, кажется, Катей зовут? Катя, у тебя были куклы?

– Были.

– Ты любила с ними играть?

– Да.

– Тогда ты легко меня поймёшь. Я тоже очень люблю играть в куклы. Если ты будешь моей куклой, если ты будешь... Ты помнишь о крысах?

– Да, Ольга Матвеевна.

– Если ты будешь себя хорошо вести, ты не пойдёшь к крысам. Ты не пойдёшь, мой зайчик... ты не пойдёшь, – Ольга Матвеевна шепчет и целует Катю, которая не смеет отвернуться от её

горячих губ. – Ну, иди, подметай, иди, – Ольга Матвеевна прижимается ртом к Катиной щеке и говорит с дыханием через полусжатый рот. – Когда всё сделаешь, придёшь сюда.

Вымыв пол во всех комнатах каменного дома, Катя вспотела и устала. Руки у неё опухли от воды и жгучего ноябрьского ветра, который набрасывается на неё каждый раз, как она выносит сливать ведро. Она так устала, что ей даже не хочется есть, как обычно вечерами, когда живот уже тоже понимает, что ему больше ничего не дадут. Освещённый только дверными щелями коридор подплывает у неё в глазах, а пол кажется косым и непригодным для хождения. Поставив швабру в маленькой каморке, забитой всяким хламом, Катя трогает рукой похороненный здесь старый сломанный шкафчик из тёмного с краснотой дерева, его железные ручки сделаны в виде каких-то ящериц, и именно из-за них Катю посещает новое, странное чувство, будто кроме того бездонного, тоскливого мира, в котором она живёт, есть ещё другой, где встречаются такие шкафчики с ручками в виде ящериц, шумят полнолистные сады, возникают розы на кустах, и пунцовые бабочки садятся на стены солнечных комнат, раскрывая крылья в волшебной тишине. И Катя точно знает – там, в этом прекрасном мире, нет людей, только похожие на них существа, лица которых меняются, как речная вода, они лишь снятся друг другу и потому не могут причинить настоящее горе и настоящую боль.

Ольга Матвеевна сидит на стуле возле стола, сняв сапоги и закинув ногу за ногу. Она велит Кате снова стать на колени и читать с листика, пока Катя читает, Ольга Матвеевна качает ногой в такт её словам.

– Повторим наш урок, – говорит Ольга Матвеевна, когда Катя закончила. – Ты вчера видела Бога. Какой он?

– Страшный, – отвечает Катя, помня, что это правильно.

– Вспомни теперь, что я говорила тебе перед этим о Боге. Я говорила тебе, что Бог – это я. Помнишь?

– Да.

– Значит, я – страшная. Я страшная?

– Да.

– А ещё я какая?

– Красивая, – предполагает Катя, надеясь, что это понравится Ольге Матвеевне.

– Может быть. А ещё? Я ласковая?

– Да.
– Я добрая?
– Да.
– Ну, скажи, какая я ещё.
– Вы... умная.
– А ещё?
– Вы самая хорошая на свете.
– Повтори.
– Вы самая хорошая на свете.
– Раздевайся. Всё снимай, трусы тоже.

Поднявшись с колен, Катя снимает одежду, пальцы её потеют от страха. Скоро она стоит перед Ольгой Матвеевной совсем голая. Ольга Матвеевна встаёт и берёт девочку за плечи.

– Посмотри на меня.

Катя поднимает лицо. Глаза её уже повлажнели от наступающих слёз.

– Отойди немного назад. Ещё немного.

Катя отступает, пока голени её не упираются в кусачее одеяло, которым застлана кровать.

– Потерпи, деточка, – тихо говорит Ольга Матвеевна и сильно толкает Катю руками в грудь.

Этой ночью Катя долго не может уснуть, потому что сильно болят защипанные Ольгой Матвеевной грудь и ноги. Уткнувшись в подушку, Катя трогает невидимые в темноте синяки и тихо плачет. Раньше плакать она не могла, у Ольги Матвеевны она старалась сдержать слёзы изо всех сил, потому что заметила: как только они появляются на глазах, Ольга Матвеевна тут же начинает ещё сильнее наваливаться на неё и щипать. Щипает она не так, как Зина, а сильно, с птичьей жестокостью, сожмёт зубы свои, оскалится, схватит всей пятернёй и так сдавит, а хватает она глубоко, и пальцы у неё, как деревянные. Щипается, хватает и в глаза глядит – слёзы выдавливает. А однажды Кате было так больно, что она не удержалась и просто заплакала, скривившись, и в ярости стала царапать Ольгу Матвеевну, а та засмеялась, прижала Катю к подушке, схватила за уши и трясла, и лицо языком лизала, как мороженое, и шёпотом требовала гадости говорить, и Катя говорила, потому что испугалась, что Ольга Матвеевна опять станет её душить, и с тех пор решила больше никогда не плакать.

Катя плачет и слышит, как приходит Зина, садится к ней на кровать, воспоминания об их любовном бешенстве вызывает у Кати теперь тошноту и приступы боли в отдавленной плоти. Она тихо говорит Зине, чтобы та ушла. Но Зина не уходит, она некоторое время молча сидит на краю кровати, а потом вдруг рывком вытаскивает из-под Катиной головы подушку и набрасывает её Кате на лицо. Тяжёлое тело Зины наваливается на сверху, Катя пытается вывернуться, царапается и бьёт Зину кулаками по рукам и спине.

– Уйди, ну уйди, скотина... – глухо ноет она под подушкой больным от плача голосом. – Ну, отстань от меня... Я больше не могу...

– Полижешь? – шёпотом спрашивает Зина, отвернув один угол подушки, чтобы Катя её слышала.

– Я не могу, меня тошнит, мне больно, – с плачем стонет Катя, хватая ртом воздух. – Отпусти меня, пожалуйста.

– Ты мне полижешь, – с уверенностью заявляет Зина. – Сейчас полижешь. Или я сделаю тебе вот так. – Она хватает Катю за запястье, притягивает его к подушке и больно выворачивает Кате указательный палец. Катя коротко взвывает, впившись снизу зубами в наволочку. Зина отпускает её палец. – Ну что, полижешь?

– Да, хорошо, только отпусти.

Зина залезает на койку, перевернувшись к Кате задом, упирается коленями и руками, Катя садится в кровати и начинает лизать. От Зины пахнет присохшим калом и потом. Катя ненавидит Зину, ей хочется, чтобы той было больно, хочется укусить её за сросшуюся, неравномерно плотную ткань, которая плохо попадёт на зубы, продавится, закровоточит, а Зина заорёт, громко, как резаная свинья, а как будет смешно, когда она станет визжать, дёргаться, а Катя, вцепившись в неё сзади, как собака, вырвет ей живот, все её вонючие кишки, набитые калом, все её бурые яичники, и тот мешок, в котором зреют дети, всё бы вырвала, вытащила бы на свет, по белью постельному поволокла, разбрызгивая красный, жирный, солоноватый сок, да чтобы ты подохла от заражения крови, проклятая гадина. Катя представляет себе эту густую заразную кровь, вытекающую из Зины, как из перевёрнутого ведра, как Зина хватается за живот, воет, выдувая кровью пузыри, Катя видит это так ясно, словно такое бывало уже много раз на самом деле, ты будешь тыкаться мордой в землю, мычать будешь, скотина, когда всё из тебя наружу повываливается. Зина

начинает дёргаться, упершись коленями и руками в койку, она хрипит от блаженства, Катя помогает себе пальцами, растягивая перед ртом тесное нутро, из которого идёт резкий запах испортившегося мяса. Катя мечтает о том, чтобы найти где-нибудь поганой, звериной спермы и залить её Зине в живот, пусть у неё вырастет там гадина и сожрёт изнутри. От злости Катя начинает тяжело дышать, покусывает Зину сзади за основания бёдер и с силой вдувает в неё отравленный своей ненавистью воздух. Зина кончает, хрипя и богато сочась, прижавшись грудью к её ногам, и в это время Катя тоже совершенно отупевает и пухнет, задыхаясь, от мучений злобы и омерзения, и не вынимает пальцев из Зины, которая судорожно хватает их чревом, как низший морской полип, Катю прошибает потом, и сердце деревенеет в груди, так сильно, что она пугается умереть.

Лёжа потом одна, Катя удивляется страшному урагану своей злости, превзошедшему во много раз былое животное неистовство любви. Из ледяной звёздной пустоты доносится вой и глухой стук колотушек – это колдуны зла пляшут у своих костров, в которых пламя темнее тьмы, вот она какова, их сила, она больше всего на свете, её и вправду нельзя победить. Катя проверяет своё тело, выпитое сейчас до оцепенелой усталости, и чувствует, что всё оно без остатка охвачено чёрным огнём, медленно жгущим плоть, как полчища могильных червей.

– Это ты во мне, ты не исчезла, ты живёшь во мне, – беззвучно произносит она одними губами. – Всё правда. Они заколдовали меня, они заколдовали меня уже давно. Они вселили тебя в меня, а ты – злая гадина. Я стала теперь тобой, ты стала теперь мной.

Крыши на бараке нет, и Катя видит ночное небо, в котором зияет огромная беззвёздная дыра.

– Вот твоё место. Мать, отец. Вот твоё место, – произносит она, с замиранием ужаса вслушиваясь в собственные мысли, ходящие подобно теням. – Они заколдовали меня, я теперь – это не я.

За этими словами Катя ждёт огромного, совершенного ужаса от разразившейся над ней пустоты. Слова её имеют сейчас власть превращения в реальность, потому что колдуны зла слышат их, слова невозвратны, и Кате жутко оттого, что она не может их не говорить, не может скрыть их в себе, заставить чёрное дерево перестать расти вглубь пространства, где его ветви уже касаются ледяного дыхания бездны.

– Сталин – жопа, – беззвучно произносит Катя, судорожно вздрагивая от ужаса. Но ей и этого мало. – Ленин – жопа, – добавляет она.

Ту молитву, что написана округлым почерком Ольги Матвеевны на листике в клеточку, Катя уже выучила наизусть и читает без бумажки, целуя своей повелительнице стопы вытянутых с кровати босых ног, едко пахнущие потом и слежавшейся внутренней кожей обуви. Ольга Матвеевна сидит, прислонившись спиной к стенке за кроватью, и подпиливает себе ногти на руках. Чтение с лобзанием повторяется трижды, и Катя запинается только один раз, запинается, и из её сердца сразу выпадает живая искра и уходит в землю, оставляя после себя только мёртвое молчание овечьего ужаса.

– Дальше, – спокойно произносит Ольга Матвеевна. – Потом получишь.

Катя лишний раз прижимается ртом и носом к плотной гладкой коже божественных подошв, но всё равно по окончании молитвы должна лечь прямо в одежде животом на кровать, Ольга Матвеевна садится на неё верхом, придавливая своей тяжестью, и сильно, с хлопками, бьёт Катю сверху ладонями по затылку, пока та молча терпит, вцепившись руками в одеяло. В голове у Кати звенит и вспыхивает, как в поломанном телефоне, слёзы капают из глаз, она снова и снова твердит про себя плохо запоминающиеся слова, полустёршиеся, каракулевые буквы проплывают по крахмальной наволочке, которой Кате ни в коем случае нельзя касаться «своей грязной мордой». Наконец Ольга Матвеевна прекращает её бить, заставляет снять колготки и трусы, связывает ей колготками руки за спиной, сажает себе на колени и начинает кормить Катю блинами, разрывая их пальцами и лично засовывая Кате в рот. Блины жирные, мягкие и сладкие. Поначалу Катя успевает быстро разжёвывать и глотать, потом просто проталкивает, давясь, куски блинов через горло, но наступает момент, когда она уже не может есть, её тошнит, она отворачивает голову, за что с размаху получает по губам.

– Жри, когда дают, – злобно говорит ей Ольга Матвеевна. – Жри, сволочь. Жри, нажирайся, гадина, набивай пузо. Глотай, гадина. Я сказала тебе – глотай. Не хочешь? Не хочешь? А я тебе говорю – жри! Ты же хотела жрать! Ты хотела жрать? Дети всегда

хотят жрать! Разве не так? Жри, паскуда, маленькая гадина. Разве блинчики не вкусные? Ты у меня будешь сытой. Ты у меня никогда не скажешь, что нечего было жрать. В глотку влезет, из жопы вылезет. Я тебе дам плеваться! Я тебе дам, я тебе дам, паскуда! Если я говорю тебе жрать, ты будешь у меня жрать!

Катя давится и выпёрхивает из себя полупережёванные кусочки, Ольга Матвеевна наклоняет её головой мимо своих коленей, отчего Катя сразу начинает рвать на пол и её босые ноги, причём вовсе не блинами, а чем-то гадко пахнущим, жидким и тянущимся, как разбитые яйца.

– Ну, ты глянь, гадина, что ты сделала, – смеётся Ольга Матвеевна. – Ноги мне заблевала, дура. Ты мне заблевала ноги. Мне, которая чище неба и светлее солнца. Ну, посмотри, свинья. Тебе что надо сделать за это? Отвечай. Не знаешь? Нет, ты просто не хочешь сказать, ты боишься, наглая свинья. Ещё дать по морде? Дать ещё? Бьёшь тебя, бьёшь, а ума не прибавляется. Как была дурой, так и осталась!

Катя широко открывает глаза, всё ещё давясь, и кашляет рвотой, руки у неё всё ещё связаны, она тупо смотрит на блевоту, расплескавшуюся по половицам и плюснам Ольги Матвеевны.

– Неужели нельзя из тебя ничего сделать? – вздыхает Ольга Матвеевна, сталкивая Катю со своих коленей. – Что ты молчишь, говно? Почему не стараешься стать человеком? Стараешься? Гадина! Ну, чего завыла, заткнись сейчас же. Это я тебя ещё слабо ударила. Я тебя, гадина, жалею, я тебя не бью сильно. Поняла? Тебя надо ногами бить, вот так! Дать ещё? Что пялишься, ну кровь у тебя, никто от крови ещё не умер, до свадьбы заживёт. Все ноги уже в синяках, а ума нет. Заткнись, я тебе говорю, а то хуже будет. Вот, руки тебе развязала, вытирай свою мразь. Иди, подтирай. Чего ревёшь? Ещё дать? Вот и молчи, раз не надо.

Катя, дрожа, убирает рвоту тряпкой в ведро и вытирает Ольге Матвеевне ноги.

– Ведёшь ты себя плохо, – говорит Ольга Матвеевна. – А ночью ещё, наверное, в писе колупаешься. Да? Ну что молчишь? Как выть и блевать, так ты можешь. Я вижу по тебе, что ты колупаешься. Посмотри мне в глаза.

– Меня Зина себе лизать заставляет, – признаётся Катя под пристальным взглядом ледяных глаз.

– Ах, вот так, значит. И что же ты ей лижешь?

– Всё.

– Всё? Очень мило. Она тебя что, насильно заставляет, она тебя бьёт?

– Она один раз меня била, – говорит Катя. – И рожей тыкала в то, что насрала.

Ольга Матвеевна подходит к Кате, берёт её за подбородок и поднимает Катино лицо кверху.

– Рожей – в говно? Прямо в говно?

– Да.

– Очень мило. И ты ей после этого лижешь?

– А что мне делать. Она меня иначе бить будет.

– Ах ты, заинька, дурочка моя, – умильно улыбается Ольга Матвеевна, наклоняется и целует Катю, слизывая у неё с губ остатки рвоты. – Так ты не хочешь у Зины лизать? Не хочешь?

– Не хочу.

– А она тебе лижет? Только честно.

– Да.

– Очень мило. Очень. И тебе это нравится?

– Нет.

– Честно? Честное пионерское?

– Честное пионерское.

– Значит, ты всё это не хочешь, с Зиной. А со мной? Со мной хочешь? Мне лизать ты будешь?

– Буду.

– А как же тогда твоя Зина? Нельзя одновременно лизать мне и Зине. Я же ревную. Ты знаешь, что такое ревность? Ты, заинька, ещё не знаешь, что такое ревность. Ревность – это очень, очень страшно. Если я ещё узнаю, что ты кому-нибудь лижешь, ты знаешь, что будет. Это очень плохо, это хуже всего на свете. Как бы тебя ни пугали, что бы тебе ни делали, ты не должна так поступать. Если я только узнаю, немедленно отправишься к крысам. Ты поняла?

– Да, Ольга Матвеевна.

– Смотри мне. Не приведи господь, хоть лизнёшь чью-нибудь грязную рожу. Сразу к крысам. А теперь одевайся и вон.

Полоща у колонки ведро, Катя видит в свете жёлтого фонаря, как Надежда Васильевна, кутаясь в ватник, выводит из барака Зину и они вместе идут к каменному дому, отбрасывая на песок две вытянутые чёрные тени. Зина ёжится и втягивает кулаки в

рукава ватника. Катя вспоминает тёплое, гибкое тело, и ей становится жалко Зину, которая ещё не знает, что её будут есть в темноте голодные гадкие крысы.

На следующий день Зины нет, и из сарая не раздаётся ни звука, наверное, думает Катя, ей завязали рот, чтобы не орала. К вечеру начинается дождь, который ветер делает косым, капли хлещут в запертые окна класса, где Ольга Матвеевна ведёт урок политической грамоты, горит керосинка, соседка Кати Ира Макова ест украденный в столовой кусок сахара, Катя всё время пытается согреть одной рукой другую и думает о Зине, сидящей в подполе мёрзлого тёмного сарая, под землёй, босые ноги в крови от укусов. После урока она догоняет Ольгу Матвеевну во дворе. Дождь колет Кате лицо холодными остриями, мешая видеть и дышать.

– Ольга Матвеевна, – задыхаясь от страха, говорит Катя. – Вы Зину в сарай посадили, к крысам?

– Да, – отвечает Ольга Матвеевна, обернувшись. Вода течёт по её лицу, но ей это, похоже, безразлично.

– Отпустите её, а то она умрёт, – просит Катя. – Мы больше никогда так не будем. Я вас очень прошу.

– Хорошо. Но сначала мы её с Надеждой Васильевной накажем, и ты должна будешь на это посмотреть. Жди около сарая, а когда мы придём, ты входи за нами. Там есть дверь в подпол, а в двери дырка. Только чтобы никто тебя не видел, и Надежда Васильевна тоже. Поняла?

В сарае темно и сыро. Сквозь отверстие в крыше течёт дождевая вода, барабаня по старой канистре. Катя отыскивает в закрывшейся двери дыру и прижимается к ней глазом. За дверью короткая лестница и маленькое помещение, в котором свалены какие-то доски и кирпичи. У стены стоит Зина, которая заметно побледнела за прошедший день, она стучит зубами от холода, пряча руки под ватник. Ольга Матвеевна ставит керосиновую лампу на штабель досок. Надежда Васильевна тоже что-то ставит на пол.

– Что, холодно? – говорит она. – Сейчас согреешься. Раздевайся.

– Зачем? – спрашивает Зина.

– Раздевайся, тебе говорят! – прикрикивает Надежда Васильевна.

Зина начинает раздеваться.

– Всё снимай, догола, – говорит Ольга Матвеевна.

Зина снимает одежду и складывает её на доски, дрожа от холода. Катя уже видела её голой в бане, но сейчас Зина выглядит словно похудевшей, тело покрыто пупырышками и напряжено.

– Ватник постели на пол и ложись. Спиной, – велит ей Ольга Матвеевна.

Зина опускается на пол. Надежда Васильевна становится на колени со стороны её головы.

– Руки, – говорит она и связывает сложенные руки Зины её снятыми колготками, потом подхватывает ноги девочки под коленями, закидывает их к голове, и разводит в стороны, крепко держа руками. Ольга Матвеевна поднимает с пола чайник. Когда она выносит его на свет, становится видно, что из носика валит густой пар. Зина судорожно дёргается и орёт, ещё раньше, чем струя кипятка начинает литься между её закинутых назад ног. Пар ударяет в тело девочки и разбрасывается во все стороны. Зина крутится и вопит дико, как разрезаемое пилой стекло. Катя видит, как закатываются её глаза, как напрягается горло от истошных воплей. Катя дрожит и зачем-то закрывает рукой себе рот. Она представляет себе, как кипяток затекает Зине внутрь.

– Мамочка, мамочка! – верещит Зина на мышиных частотах, бешено елозя спиной по полу, зад её дёргается, ошпариваемый кипящей струёй, Надежда Васильевна с трудом удерживает тело девочки в нужном положении.

– А, уже не холодно? – хохочет Ольга Матвеевна, опять наклоняя чайник. – Жарко стало? Кипяточек-то крутой! Кричи, кричи, всё равно никто не услышит.

– Мамочка, мамочка! – захлёбываясь, орёт Зина, мотая головой. – Ой, не надо, не надо, пожалуйста! – она не успевает выговаривать слова, они захлёбываются и прерываются у неё во рту, переходя в щенячий вой.

Кипяток плещет на неё, выбивая пар, сидящая на корточках Ольга Матвеевна закусывает губу в улыбке, исступлённо дыша сквозь зубы, и Зина снова переходит на звенящий металлический визг.

– Ольга! Ты видишь, как у неё всё уже!.. – вскрикивает Надежда Васильевна, рванувшись на месте и ещё плотнее прижимая руками расставленные ноги бьющейся девочки коленками к полу. – Ты посмотри, Ольга!

– Ладно, хватит, – цедит сквозь зубы Ольга Матвеевна и ставит чайник на пол. Она вынимает что-то из-за пазухи и, опершись на одну руку, наклоняется к Зине и суёт ей это другой рукой в разинутый визжащий рот. Раздаётся страшный грохот, Надежда Васильевна дёргается в сторону и припадает на руку, отпуская ноги Зины, которые медленно валятся набок.

Зина больше не кричит. Из-под головы её выползает на пол тёмная лужа.

– Видишь, как всё просто, – говорит Ольга Матвеевна. – Бах и готово. Как гвоздь в доску.

Надежда Васильевна глядит на повернувшуюся набок Зину и отряхивает себе пальцами юбку.

– Что, брызнуло? – спрашивает Ольга Матвеевна. – Вроде же вниз пошло. Рано я её, да? Уж очень кричала сильно.

– В лесу зароем?

– Потом. Пусть пока тут полежит. Ты иди, Надь, я приберу всё. Спокойной тебе ночи.

– Спокойной ночи, – отвечает Надежда Васильевна. – Давай, чайник отнесу.

Её сапоги бухают в ступени, плечо – в дверь, которая со скрипом отъезжает в сторону, застревает на полпути, с приглушённым матом Надежда Васильевна свергает на своём пути какой-то дощатый хлам и вываливается во двор, где темнота кажется светлее от крупчатых звёзд и молодого месяца среди них и откуда доносится визг передравшихся на вечерней сходке у сортира девчонок.

– Слышь, Котова, вылезай, – окликает Ольга Матвеевна из подпола. – Иди сюда. Иди, я кому сказала!

Катя выбирается из-за двери, переступая ногами через деревянный лом. Зина лежит на том же месте, прикрытая собственной бурой кофтой, спиной к двери, Ольга Матвеевна стоит рядом с ней, отряхивая сапоги от накопившейся в подполе грязи. Пахнет сыростью и крысиным помётом.

– Иди-иди, погляди на свою подружку, – улыбается она Кате. – Пока не погнила. А она здесь быстро гнить начнёт, – продолжает она, заботливо очищая скомканной Зининой юбкой сапог, – сыро. На ней тут и грибы вырастут.

Катя спускается с лестницы, искоса глядя на неподвижное тело Зины. Кофта доходит ей с одной стороны до согнутого

затылка, едва прикрытого стрижеными тёмно-рыжими волосами, сбитыми набок, так что прижатое листообразное ухо теперь совершенно обнажено, а с другой – до начала поджатых бёдер, а голые икры Зины лежат прямо в грязи. Подойдя поближе, Катя замечает, что в волосы Зины замешалась густая тёмно-багровая масса.

– Мёртвых видела? – спрашивает её Ольга Матвеевна. – Она уже мёртвая. Не дышит, не чувствует ничего. Смотри, – она вдруг с размаху пинает Зину сапогом по спине. От удара тело девочки вместе с участком ватника сдвигается по земле. – А ну, пни её.

Стиснув зубы, Катя что есть силы пинает Зину сапогом. Та не издаёт ни звука, только вздрагивает.

– Ты видела, как я её убила?

– Видела.

– Это было быстро, правда?

– Да.

– Убивать очень легко. Пять минут назад ещё была живая – бах, и нету. Я ей выстрелила в голову, понимаешь? Вот, погляди, – Ольга Матвеевна приседает около Зины и поворачивает её лицо вверх. Глаза у Зины совсем белые, словно из них вылетели зрачки. – Вот сюда, в рот, – она оттягивает одной рукой нижнюю челюсть Зины и показывает указательным пальцем другой ход пули. – Вот так и дальше, а потом, – она ловко поворачивает голову девочки, как глобус, – туда. Навылет, в землю. Видишь, сколько натекло.

При виде влажного пятна со склизкими комками под головой Зины у Кати кружится голова, и она, помогая себе руками, садится на кирпичи.

– Но ты понимаешь, что с ней? – спрашивает её Ольга Матвеевна. – Она подохла. Она никогда больше не будет говорить, смотреть, жрать кашу, срать. Ты это понимаешь? Её закопают в землю, и она будет там гнить. Ясно это тебе?

– Ясно, – одним дыханием отвечает Катя.

– И ты тоже будешь гнить, когда умрёшь. Ты боишься гнить?

Катя кивает. Она старается не смотреть на белые глаза Зины и на дыру её раскрытого рта.

– А вот погляди сюда, – Ольга Матвеевна берёт Зину за ногу, подтаскивает её в сторону, как овцу, так, чтобы Катя могла видеть, и отбрасывает край кофты. Катя смотрит и, резко раздвинув колени, рвёт на земляной пол.

– Не узнаёшь? – смеётся Ольга Матвеевна. – Ты *это* лизала? Смешно выглядит, правда? Само на себя не похоже. А ну давай, поди, полижи.

Катя мотает головой, встаёт и отходит от рвотной лужи, вытирая рукавом рот.

– Что ж ты, малышка? – усмехается Ольга Матвеевна. – У мёртвой не хочешь? Лижи, падло, – она вынимает из-за пазухи пистолет. – А то я сейчас и тебя тоже. Вот, тут дырочка, видишь? Оттуда вылетит пчёлка, и прямо по башке. Сильно, как кувалдой стукнет. Бац – и нету Кати. Что ты отворачиваешься? Бац – и нету Кати. Навсегда нету, понимаешь?

– Ольга Матвеевна, я не могу, – шепчет Катя, закрывая глаза. Она ждёт грохота и страшной боли, которая разобьёт ей голову. Она пытается представить себе небытие, но не может, только усиливающиеся волны ужаса заливают её сжавшееся сердце. Ольга Матвеевна делает шаг и приставляет Кате пистолет ко лбу. Его дуло кажется Кате ледяной трубой, ведущей прямо в космос, по которой течёт непостижимый звёздный ветер.

– Открой глазки, – велит она. Катя знает, что если сделать это, Ольга Матвеевна сразу её убьёт. – Не бойся, зайчик, открой глазки. Я хочу только посмотреть, как ты умираешь. Я ничего больше на свете не хочу. Мне, правда, ничего больше не надо. Не веришь? Я обещаю тебе, что сразу после тебя я сама застрелюсь. Засуну пистолет себе в рот и выстрелю. Вот, тут у меня партбилет. На, посмотри. Я клянусь тебе на нём, именем Партии. Ну, пожалуйста, открой глазки. Я умоляю тебя, – в голосе Ольги Матвеевны послышались слёзы. – Ты не понимаешь, нас всего двое сейчас на свете, ты и я. Никого больше нет.

Катя плачет из-под закрытых глаз. Слёзы она не вытирает, потому что думает, что сейчас всё равно умрёт. Но холодный клюв, упёршийся ей в голову, соскальзывает вниз.

– Ладно, живи, – чужим голосом произносит Ольга Матвеевна. – Раз не хочешь по-настоящему, – голос её срывается.

Катя прижимает ладони к лицу. Её сильно знобит.

– Гадина, – тихо всхлипывает Ольга Матвеевна. – Что же мне с тобой делать, гадина?

АНГЕЛЫ

Зину Ольга Матвеевна уволокла потом через дверь сарая куда-то в чёрный горизонтальный колодец двора, чтобы она не начала вонять. Натекшее из её несчастного тела на землю заскребли носками сапог и притоптали, то место потом поели и порыли крысы. Ночью Катя увидела Зину во сне, одетой в ватник, она похожа была на мальчишку, губы у неё посерели, она курила и молчала, а потом вдруг коснулась Кати рукой, и это было очень больно, как будто рука Зины была сделана из ледяного железа. Так ничего и не сказав, она ушла, а Катя снова, привычно заплакала, не от жалости, а от абсолютного своего одиночества. Зину ведь убили у неё на глазах, так и её когда-нибудь сделают мёртвой, и никто не поможет.

– Она же не любила тебя, – говорит ей Ольга Матвеевна. – Она просто хотела кем-нибудь владеть, чтобы ты её боялась. В этом разница – я не хочу, я *могу* сделать с тобой всё, что угодно. Вот где начинается любовь. Ты понимаешь, гадина? Я могу вот так взять и врезать тебе по морде. Даже товарищ Сталин не может, а я могу. Я бы на тебя, зайка, целое ведро кипятка вылила, прямо на голову, ты ведь такая прелесть!

И Ольга Матвеевна выливает ведро кипятка, только не на Катю, а на Лену Мошкову из первого барака, привязав её сперва к стулу в том же самом подполье и исхлестав её пряжкой своего военного ремня, так что на спине и руках Лены вздуваются алые рубцы, проточенные кровью, и она признаётся Ольге Матвеевне, что состоит в тайном вредительском кружке, организованном Зиной, что они читают брошюры Ленина, хранящиеся в красном уголке, задом наперёд, заменяя «партия», «пролетариат», «коммунистический» и другие важные слова ругательными, что они учат других девочек курить, непристойно ругаться и заниматься онанизмом, что кружок их назывался «Чёрная зоря», что все они лижут Зине по ночам органы выделения и размножения, устраивая оргии, к которым принуждаются и те, кто не хочет, а

под конец Лена выдаёт всех своих сообщниц, общим числом девять душ. Надежда Васильевна тщательно записывает все показания Лены в планшет, сидя на досках, пальцы её мёрзнут и постоянно перекладывают ручку поудобнее.

– Видишь, Надя, я ведь тебе говорила, что давно надо было устроить следствие. Эта антисоветская сволочь никогда не станет на правильный путь, – заявляет Ольга Матвеевна, глубоко выдыхая и отирая пот с лица. – Сколько волка ни корми, а он всё в лес смотрит, – стиснув от натуги губы, она поднимает двумя руками с пола дымящееся ведро и опрокидывает его на полураздетую, привязанную к стулу Лену, которая вздёргивается и визжит так, что Катя затыкает уши, а Ольга Матвеевна ещё ждёт, пока она наорётся и надрыгается всласть, и только потом, когда Лена уже охрипла, и кожа на ней попузырилась и полопалась до кровавого мяса, особенно на спине, Ольга Матвеевна берёт её руками за волосы, зайдя сзади, и, упираясь коленом в исстёганную спину, сильно рвёт на себя, ломая девочке шею. Изо рта Лены выплёскивается кровь, взбулькивая от воздуха, идущего горлом после оборвавшегося предсмертного стона, и Надежда Васильевна мучается тяжёлым сладостным спазмом живота, со стоном трясясь на досках, она зажмуривается и ревёт, как больная скотина, а Ольга Матвеевна дёргает Лену ещё несколько раз за волосы, внимательно прислушиваясь к хрусту её позвонков. Потом Надежда Васильевна отвязывает мёртвую девочку от мокрого дымящегося стула и тащит её за ноги землёй, лестницей, мимо Кати, сараем, в холодную ночь.

На следующий день допрашивают Лиду Васильеву, тоже из первого, бедная Лида сразу начинает плакать, как только ей велят раздеться, но упорно не признаётся во вредительстве, за что ей льют кипяток на ступни и колени, потом Надежда Васильевна разводит в яме на полу огонь и жжёт Лиде раскалённой докрасна железкой грудь, и тогда Лида хриплым от крика голосом признаётся во всём, она громко рассказывает, что есть ещё у вредительниц свои пионерские звенья, а чёрные галстуки они рисуют у себя на груди кусками угля, и что планируют ночью убить Макарыча кирпичом по голове и бежать, уйти в лес, организовать банду и прорываться в тайгу, где до сих пор бродит недобитая кулацкая сволочь, и что Зина говорила, будто у Ленина есть сын, которого держат в застенках НКВД, а ему Ленин наказал перед смертью

всю правду, а Сталин хочет сына ленинского расстрелять, чтобы правда погибла. И пока Лида всё это рассказывает, Ольга Матвеевна берёт и засовывает ей раскалённую железку сзади между ног, и ставит колено Лиде на спину, чтобы прижать её к железке животом, и Лида даже орать уже не может, всю её как свело, трясётся только на стуле, раскрыв рот, а Ольга Матвеевна кривится и глубоко железку всаживает, наклоняя Лиду коленом вперёд, хрипит, лицо раскраснелось, а Надежда Васильевна как взвизгнет, и сама хвать эту железку двумя руками.

– Что же она не воет, Ольга, – хрипит она, слюни изо рта, и на спину Лиды капают. – Что не воет?

– Подогреть надо, дура, остыла уже, – отвечает ей Ольга Матвеевна, тоже сильно задыхаясь. Надежда Васильевна вытаскивает железку из-под Лиды и суёт её в огонь.

– Мама, – вдруг по-птичьи всхрипывает Лида. – Мама.

– Вот живучая тварь, – удивляется Ольга Матвеевна, ещё сильнее нажимая коленом на склонённую спину девочки. – Надя, ну что ты там возишься.

Когда Надежда Васильевна поднимается с корточек от костра и снова всаживает под Лиду сзади конец железки, алый, как кремлёвская звезда, Лида не кричит, она уже успела умереть.

– Подохла, сволочь, – со злым разочарованием, чуть не плача, стонет Надежда Васильевна. – Вот падло, подохла.

– Ничего, Надюша. Не вечно же она терпеть может. Тебе бы так под жопу всадить, вот бы выла, – Ольга Матвеевна устало смеётся, подмигивая Надежде Васильевне.

– Мне-то за что, я не враг народа, – обиженно хмурится та, гася сапогом костёр.

– Нет? – лукаво улыбается Ольга Матвеевна. – Ну конечно, ты не враг. А если всё равно, взять вот так – и под жопу? В качестве следственной ошибки? Лес рубят – щепки летят, так, кажется, говорил товарищ Сталин?

– Шутки у тебя, Ольга, – тихо произносит Надежда Васильевна, отвязывая труп Лиды от стула. – Скоро их, свиней, некуда класть станет.

– А мы их в лес потащим, – не унывает Ольга Матвеевна, сгребая тряпкой из Лидиной одежды, прижатой к земле сапогом, кровавую грязь. – Там-то места всем хватит. Даже нам с тобой.

Надежда Васильевна морщится и плюёт в землю.

Этой ночью Катя просыпается много раз, крики терзаемых девочек звенят в ней непрекращающимся эхом, и всё время снится, будто Ольга Матвеевна рвёт за волосы, ломает одной из них шею, а потом вдруг поворачивается к двери и кричит: «Котова, а ты-то что? А ну вылазь!», а ведь она может, разве знаешь, что ей в голову придёт. Катя не сомневается, что рано или поздно её тоже обольют кипятком, и невыразимый ужас стягивает её своими ледяными путами, вот так заставят раздеться и обварят, как курицу, потому что им ведь всё равно, им никого не жалко.

А следующая по списку – Маша Калугина, увидев чайник с кипятком, она со слезами молит, чтобы ничего не делали, но Надежда Васильевна крепко берёт её за плечи, а Ольга Матвеевна зажимает Машину руку под мышкой и аккуратно льёт кипяток из чайника на пальцы, Маша вопит, бьётся и топает по земле, она выдаёт всех своих сообщниц, она кричит, что ходила ночью в парашу плевать между ногами в яму и называть имена вождей коммунистической партии, начиная со Сталина, а после имени Ленина надо было плевать три раза, и другие девочки тоже ходили, а Люба Авилова говорила, что Ленин из мавзолея выходит каждую ночь и воет на луну, потому что он не может умереть, пока мировая революция окончательно не победит, и после всего этого признания Маша устаёт от боли и, всхлипывая, воет, повторяя одно и то же, хотя Надежда Васильевна ругает её матом, а Ольга Матвеевна крутит и надкусывает ей пальцы, до крови, а потом они её бьют по лицу, и она даже руками не может закрыться, потому что руки ей связали за спиной, рот разбили, и нос, а потом Ольга Матвеевна спички зажигает и подпаливает девочке волосы и уши, а Надежда Васильевна голову Маше держит набок, тогда Маша ещё, плача, признаётся, что Настя Хвощёва онанировала на портрет красногвардейского матроса, бьющего белую сволочь мускулистыми руками и ногами, и засовывала портрет себе под майку, и спала с ним. Потом Маша орёт, что ни в чём не виновата, чтобы отпустили, что она больше не будет, а Ольга Матвеевна даёт Надежде Васильевне ремень, и та начинает сзади им Машу душить, а сама Ольга Матвеевна приседает перед девочкой на корточки, налегает грудью ей на живот, и смотрит в лицо, и язык показывает, и неторопливо, сильно щипает девочку, пока та ещё жива. Маша дёргается, хрипит под ремнём, вцепившись в него руками, и выгибается, тщетно ищет воздуха раскрытым ртом.

Но этого им мало, и пока Ольга Матвеевна вытаскивает труп наружу, Надежда Васильевна приводит из бараков полусонную Настю Хвощёву, которая кутается в ватник, наброшенный поверх спальной одежды, и Ольга Матвеевна сразу, без вопросов, бьёт её ногой в пах, Хвощёва со стоном падает, корчится на земле, а Ольга Матвеевна пинает её и топчет ей пальцы, Настя визжит, схаркивает идущую ртом кровь, потом скорчивается от удара в живот, и обе женщины бьют её сапогами, молча, тяжело дыша и краснея от натуги, глухо лупят в сжавшееся, пыльное тело, которое подёргивается от пинков и сдавленно стонет, волосы прилипают к разбитым губам, а они всё бьют и бьют, а Надежда Васильевна потом прыгает на Настю с размаху, обеими ногами, взвизгивая, потом снова, и Настя замолкает скулить, потому что они её убили, и её тоже, даже не спросили ничего. А они ещё долго бьют бездыханную Настю тяжёлыми сапогами, топчут её, давят, прыгают, и воздух со звуками выходит из их вибрирующих горл, волосы взметаются вверх, на лицах крупными каплями выступает пот, потом Ольга Матвеевна, которая всегда что-нибудь да придумает, хватает Настю за одежду и бросает головой в кирпичи, и снова бьёт сапогами, стараясь попасть в разбитое, изуродованное лицо, тащит за руку по земле, а Надежда Васильевна идёт следом и топчет, кровь брызгает, в девочке влажно хрустят кости, и Ольга Матвеевна, присев над ней, став на колени, начинает рвать руками одежду Насти, её волосы, нос, рот, стонет хрипло, по-звериному, будто от внутренней тоски, и Надежда Васильевна тоже садится и рвёт, руки у них в крови, плоть Насти лопается и отстаёт, а они стонут и давятся слюной, отталкивая друг друга, так велика их страсть уничтожить пойманное зло, всё, без остатка, изорвать мёртвое Настино лицо, чтобы забыть его навеки, чтобы исчезло оно с белого света, словно не было его никогда.

Катя смотрит, как зачарованная, на двух тяжело стонущих женщин, сосредоточенно возящихся при тусклом свете керосинки над телом девочки, которое превратилось уже в бесформенный тёмный предмет. Когда-то, в близком, но уже неуловимом прошлом, она перестала верить, что это не сон, она забыла, зачем она здесь и как сюда пришла, она забыла и своё страшное будущее, и теперь только настоящее течёт перед ней, страшное, неотвязное, полное нереального, негасимого света, настоящее, не стремящееся больше никуда, живущее лишь само

в себе, и нет из него выхода, и не будет ему конца. Она смотрит, как Ольга Матвеевна слизывает кровь Насти со своих пальцев, ёрзает коленями по грязному полу, губы у неё уже в крови, полосы крови на щеках, Надежда Васильевна встаёт, держа растопыренные руки опущенными перед собой, сглатывает, пошатывается, оглядываясь по сторонам, и Катя знает: если бы Надежда Васильевна сейчас заметила её, сразу бы набросилась и стала живьём рвать на куски, как надоевшую куклу, кусать, бить и царапать, драть, драть своими острыми лакированными ногтями. Поэтому Катя прячется в хламе, прижавшись к стене, закрывается руками и дрожит. Сейчас, думает она, сейчас будет моя очередь. Затаив дыхание, Катя вслушивается в приглушённые голоса, там, внизу. Куда они тащат их потом, наверное, зарывают в песок, и сколько их уже зарыто там раньше, замученных, ослепших и оглохших навсегда, истлевших, поеденных червями, утопленных в непроницаемой темноте.

– Я не хочу туда, – шёпотом просит Катя. – Не надо меня туда.

Она всё время ждёт, когда они позовут её, надо будет бежать, но бежать некуда, кругом стена, запертые дома, не спрячешься, они всё равно найдут, потащат в подвал, будут бить, будут смеяться, будут ошпаривать кипятком, жечь железом, будут лизать кровь с разодранного лица. Она всё время ждёт, время остановилось на краю пропасти, накренившись уже вниз, как огромный ржавый шкаф, и нет сил его удержать, сейчас оно с грохотом обрушится в бездну, наступит конец. Она всё время ждёт, она не может уже терпеть, обмочилась, трусы мокрые, колготки тоже, она засунула костяшки пальцев в рот, чтобы не выть от ужаса, вот Надежда Васильевна поднимается по лестнице, отворяет дверь, останавливается на пороге, что ж она остановилась? Запах, понимает вдруг Катя. Она чует запах моей мочи. Теперь она меня найдёт. Сдавив зубами пальцы, Катя дрожит и совсем перестаёт дышать, вся в холодной капельной сыпи. Надежда Васильевна медленно проходит сквозь помещение сарая во двор. Катя разжимает челюсти, расслабляется и вдруг проваливается под толстый чёрный лёд, переставая чувствовать и жить.

– Вот ты куда забралась, – говорит ей Ольга Матвеевна с керосиновым светом смерти в руке. – Испугалась? – она становится возле Кати на колени и садится на поджатые голенища сапог. – Открой рот.

Катя открывает рот. Надо слушаться, иначе все ногти поотшпаривают. Ольга Матвеевна всовывает Кате в рот свои страшные пальцы.

– Оближи.

Катя чувствует вкус крови. Это свежая Настина кровь.

– Вкусно? – шёпотом спрашивает Ольга Матвеевна. – Правда, вкусно? Ты давно, наверное, мяса не ела? Давай Настю откопаем и покушаем.

Катя мотает головой.

– Не хочешь? Почему? Она вкусная, ты же видишь, какая вкусная. Ты не думай о том, что это девочка. Представь себе, что ешь обычное мясо, телятину, например. Я тебе на костре пожарю, будет очень вкусно. Пошли. Пошли, кому говорят.

В подвале Ольга Матвеевна разрывает руками притоптанную сапогами землю. Сначала показывается бледная рука Насти, потом присыпанная землёй шея. Катя отворачивается, чтобы не видеть ободранного лица девочки, которое сильно залепила грязь.

– Тебе пожирнее или как?

– Меня сейчас вырвет, – откровенно говорит Катя.

– Почему, зайчик? Это уже не человек, она мёртвая. Обычное мясо. Самое обычное мясо, – Ольга Матвеевна тщательно выговаривает букву «ч», словно именно она отличает хорошее мясо от плохого. – Труп – это просто мясо, больше ничего. Не заставляют же тебя есть её живой.

– Всё равно вырвет.

– Ну, если и вырвет, что тут такого? – пожимает плечом Ольга Матвеевна. – Например, ноги, бёдра, например. Мясо вкусное, жирненькое. Ой, не тошни здесь, отойди на пару шагов, – она вынимает нож, ловко распарывает Настину одежду и вспарывает лезвием бледное Настино бедро. – Погляди, ей и не больно. Ей всё равно. Фу, хватит, довольно, где же ты сожрала столько? А я рёбра люблю.

Свой кусок мяса Ольга Матвеевна зажаривает прямо на лезвии ножа. Катя сидит на земле возле лужи собственной блевоты, обхватив колени руками, и с отвращением смотрит на керосиновую лампу.

– Я есть совсем не хочу, – говорит она. Говорить трудно, потому что горло режет от рвоты.

– Аппетит приходит во время еды, – весело возражает Ольга Матвеевна и тихо смеётся своей шутке. – Не грусти, лапочка.

Я знаю, почему ты грустишь, – ты испугалась, мы же её на твоих глазах. Но тебе ведь ничего не было, правда? Ты только описалась, и всё. Видишь, я всё про тебя знаю. То, что ты описалась, – это не страшно и не стыдно, это естественно. Со мной такое тоже было. Да, да, представь себе, со мной тоже. Мне снились страшные сны в детстве, и я часто мочила постель. Мать меня за это била. А мне снились иногда очень, очень страшные сны. Однажды мне приснилась... огромная чёрная... птица, размером с дом. Она нагнулась ко мне своей мордой, такой волосатой, что не найти было глаз, и дохнула на меня из клюва, а дыхание у неё было ледяное, как руку в прорубь сунуть. Вообще-то это была вовсе не птица, а что-то другое, не знаю что. У неё морда была какая-то не птичья, какая-то...

Почему он тебя не сожрал, с ненавистью подумала Катя. Почему он не расклевал тебя в кровавую кашу.

Ольга Матвеевна вцепляется зубами в немного подгоревший кусок. Она грызёт его с хрустом и тихим чавканьем.

– Вот ведь невинное существо, – говорит она, проглатывая и снова начиная грызть. – Я имею в виду, она ещё и с мальчиками не спала. У Надежды Васильевны, например, мясо, я думаю, жирное и воняет. Ты как думаешь? Возьми, попробуй. Катерина!

Катя смотрит на мясо и отворачивается, потому что её снова начинает рвать.

– Ну и противная же ты, – с досадой кривится Ольга Матвеевна. – Вот же чучело.

– Я, правда, не могу, – выговаривает, наконец, Катя.

– Тебе что, Настю жалко? Ты с ней дружила?

– Не дружила. Но есть не могу.

– Дура. Так что же ей, зря в земле гнить? Она кашу ела, росла, жира набиралась, а теперь так и скиснет? Послушай, Котова, – вдруг быстро зашептала Ольга Матвеевна, чуть не поперхнувшись. – Знаешь, ведь это и есть настоящая, настоящая любовь, ты её просто ещё не чувствуешь, а я уже – о, я уже чувствую, настоящая любовь – человека съесть, и не нужно желать, чтобы человек лучше стал, не нужно, Котова, это утопия, его нужно кушать таким, как он есть, принять в себя, растворить в себе, какое тут отвращение, потому что гадость у человека в сердце, в голове, и она лишь потом переходит в мясо, позже, ты понимаешь, Котова, вот Настю возьми, она же гадина была, маленькая сволочь, а мясо

у неё хорошее, кровь сладкая, хорошая плоть, чистая, пропадать не должна, она должна в человечество переходить, это и у Ленина написано, а ты как думаешь, Ленин про это писал, он страшной силы был человек, и мне один мой родственник рассказывал, что во время коллективизации бедняки мясо кулацких детей ели, это было правильно, и кровь надо было пить, а ты знаешь ещё, Котова, что если коровье мясо – это чтобы тело жило, то человеческое – в нём больше, и ты знаешь что, Котова, мне бы, знаешь, я бы Ленина поела, это же страшной силы был человек, вот тело его в мавзолее лежит, как запас бесценный, ещё Христос говорил, я в Библии читала, а ты не читала ведь Библии, так вот он говорил, чтобы тело его съели, а вместо того все ели хлеб, потому что Христа же на всех не хватит, Котова, его и в гробу не нашли, а знаешь почему, Котова, ничего ты знаешь, потому что съели его, ученики собственные же и съели, мученики, чудотворцы, думаешь, зря они мёртвых воскрешали, ты бы подумала об этом, Котова, за одну ночь съели, двенадцать же мужиков, ты думаешь, религия – это опиум народа, а я тебе скажу, что её понимать надо, ведь никто же не понимал, только люди знающие, а Христос сам так жил и ученикам своим завещал: мучаться, умереть, и чтобы съели тебя, а знаешь зачем, чтобы так человека лучше сделать, чище, не Настю, не Зину, а человека, потому что Настя, Зина – это мясо, мясо говорящее, им бы только какать да хихикать, они функции своей не знают, а функция их – мучаться, мучаться и мёртвыми стать, пока яд в теле не накопился, и тут их есть надо, саму жизнь их, пока она в теле ещё, кровь от этого чище делается, да что кровь, сама душа, душа, Котова, это главное в человеке, что есть, это сила непоколебимая, вот ты писаешься и тошнишь на пол, ты крови не любишь, боишься видеть, как человек умирает, потому что душа у тебя маленькая, недоразвитая, жалкая, дрожащая у тебя душа, Котова, с такой душой коммунизма не построишь, для коммунизма уже понадобилось миллионы врагов убить, и ещё больше убивать надо, для коммунизма человек из одной души состоять должен, тело и душа должны быть у него одно, он должен землю есть уметь, не только Настю Хвощёву, чтобы всё лучшее, что на свете существует, в людей перешло, сконцентрировалось, а товарищ Сталин – он у Ленина кусок съел, потому он всей страной огромной руководить может, всем народом, на это же сила нечеловеческая нужна, а всякие там оппортунисты и прочие –

они мясо есть боялись, хотели курицу в яблоках, вот они от яда своего и задохнулись, потому что им, подонкам, человек был безразличен, маленькая эта вредительница Настя – до жопы, есть она, нет её – всё равно, а её любить надо, любить, Котова, она же полезная, в ней сока жизни много...

Ольга Матвеевна перестаёт говорить, потому что устала и временно потеряла дыхание. Во время своей речи она придвинулась ближе к Кате, обняла её и дышит теперь ей прямо в волосы. Катя молчит и думает о том, как Ольга Матвеевна станет её есть. Она чувствует себя не в воздухе, а будто внутри пригодной для дыхания воды, по коже текут прохладные токи, плывут сквозь голову, кружатся и смешиваются между собой.

– Социалистические дети должны быть голодные, – вдруг осеняет Ольгу Матвеевну. – Они тогда сами друг друга есть начнут. Вот ты, например, была бы голодная, так и Настины котлетки бы поела. Хочешь, я тебе сделаю? Я умею котлеты жарить, у меня вкусно получается. Тебе мама делала котлеты?

– Не хочу котлет из Насти, – заплакала Катя, содрогаясь от боли в горле. – Ну что вам от меня нужно... ну что?

– Поплачь, зайчик, поплачь, – ласково зашептала Ольга Матвеевна. – А ты думала – это легко, новое общество, коммунистический мир, ты думала – это камень на камень – и готово? *Кровь* превращать нужно в камень, потому знамя у нас и красное, сама кровь человека светлее должна стать, и из неё, как из жидкого стекла, души будут строить, прозрачные, живые, чистые, как огонь. Ты любишь огонь, зайчик? Нет? Ты сейчас уже ничего не любишь, потому что забыть не можешь Зинки своей нутро, какая же ты дура, Зинка была – и нет её, смерть берёт человека легко, шлёп, и можно в яму сваливать, ты же видела, чего жизнь стоит, шлёп – и повалилась в яму, мордой в землю, а ты про что вспоминаешь, хочешь, пойдём сейчас, полюбуешься на неё, понюхаешь, как воняет, хуже говна, мы её и в яму не закапывали, она в подвале столовой, в солёной воде лежит, вот те пирожки с мясом, которые вы сегодня ели, они знаешь из чего? Из Зины, из Лены, из Лиды пирожки. Ну, видишь, ты же съела свой пирожок, и не отравилась, ведь не отравилась? Знаешь, какая она теперь, твоя Зина? На морде пятна, губы почернели, зелень всходит, хоть и лёд, растения лучше животных, они на смерти сразу расти начинают, без всякого переходного нэпа, превращают труп в цветы свои

крошечные, а пальцы её крысы поели, я видела, они пробираются туда, они всё равно живут, сколько ни трави. Я бы, впрочем, никогда её есть бы не стала, она была порченая, горькая была, не то что Настенька, Настенька – такая прелесть, я по коже её, по запаху сразу поняла: у неё кровь сладкая, ой какая сладкая, из неё мороженое делать можно... Ну не отворачивайся, зайчик, не бойся, я тебя не укушу, нет, ни в коем случае, видишь, просто лизнула, солёная ты, напотелась вся, что тебе пришлось пережить, милая, что тебе пришлось пережить, ну обними меня, ну поцелуй, у тебя столько нежности, я же знаю, тебя бьёшь, а ты потом целуешься, я от этого знаешь что, я от этого... Губы у тебя какие, слаще мёда, как же я люблю тебя, я так тебя люблю...

Больше Катя ничего не слышит, потому что падает в обморок, как в яму удаляющейся глубины. Кругом Кати стоят деревянные аисты, и на чёрном небе светит ослепительное золотое солнце, из которого выходят короткие волнистые лучи, как рисуют в детских книжках. Катины ноги утопают в неощущаемой земле, так что она сразу уверяется в бесполезности ходьбы и садится, ложится в землю, как в кровать, раскинув руки, она лежит посреди чёрного вспаханного поля в фонарном свете золотого солнца, словно на пляже, и слышит многослойный звон, может быть, это поют здешние птицы, может быть, они из стекла или алюминия.

Через зарешёченное окно изолятора падает на пол маленький лимонный треугольник. Окно выходит в тесное пространство между домом и бетонной стеной интерната, и в нём видна только сухая серая поверхность стены. Катя лежит на одной из двух стоящих в маленькой комнате кроватей, вторая кровать пуста. Уже очень светло, и хочется есть, наверное, заполдень. Рядом с кроватью, на деревянной тумбочке, стоит стакан с холодным молоком и тарелка, в тарелке – кусок хлеба, вилка и застывший омлет. Увидев омлет, Катя вдруг представляет себе, что все последние месяцы она спала, а теперь, наконец, проснулась в какой-то неизвестной больнице, сейчас придёт мама и заберёт её домой. Она встаёт и подходит к белой двери, пробует её рукой. Дверь заперта. Катя возвращается, садится на койку и ест вилкой омлет.

В этой комнате изолятора Катя сидит одна до самых сумерек. Лишь однажды она слышит за дверью шаги, они останавливаются, потом уходят. В сумерках ей становится страшно. Она появилась здесь ночью, ночью же и должны снова за ней прийти.

Катя то бродит по комнате, то снова садится, тоскливо глядя в окно, из которого не видно неба. Комната постепенно погружается в темноту, и в темноте загорается замочная скважина, потом закрывает свой глаз под металлическим лязгом ключа.

– Здравствуй, зайчик, я тебе кашки принесла, – говорит Ольга Матвеевна. Она входит, прижимая рукой к груди закутанный тряпкой горшок, и затворяет за собой дверь на ключ. – Кашка манная, с вареньем. Тебе лучше?

Катя кивает, покорно соглашаясь с продолжением кошмара.

– Не тошнит? Ты вчера в обморок упала, и я подумала... Для тебя это всё очень страшно и тяжело, ты ведь ещё маленькая, и... прости меня, ты слышишь? Пусть я даже Иисус Христос, меня тоже надо простить. Это он прощения не просил, потому что душа у него была слишком гордая. Так ты меня простишь?

Катя снова кивает. Она готова сделать всё, только бы не лили кипяток на пальцы.

– Зайчик мой милый, – радуется Ольга Матвеевна. – Вот, садись, поешь, вот тут и ложка есть, ты же голодная.

Она присаживается на кровать рядом с Катей, ставит ей горшок с кашей на колени, разворачивает тряпку и гладит Катю ладонью по волосам.

– Знаешь, как я по тебе соскучилась, котик.

– А в сарай сегодня не надо идти?

– А ты хочешь? – оживлённо спрашивает Ольга Матвеевна.

Катя мотает головой.

– Ну, так и не надо. Отдохни, милая, а то ты заболеешь совсем. Никуда они не денутся, дурочки, бежать-то им некуда, стенка кругом. И название себе придумали – «Чёрная зоря». Смех один. Ты, наверное, тоже состояла?

Катя чуть не давится от страха кашей.

– Нет, Ольга Матвеевна, честное слово. Я ничего не знала.

– Да ты не бойся, солнышко, даже если и да, ты не бойся, *тебе* это не страшно, я же тебя знаю, ты хорошая девочка. Кушай, кушай. Ты милая, хорошая девочка. Если бы ещё у всяких вредных и заразных Зинок не лизала...

– Я больше не буду, – со слезами раскаяния на глазах говорит Катя.

– Да-да, я знаю, милая, я верю тебе. Ты у нас вырастешь, в комсомол вступишь, будешь красивенькой такой, ёбаной

комсомолочкой, – Ольга Матвеевна смеётся. – Скажи, хочешь быть ёбаной комсомолочкой?

– Хочу.

– Вот молодец. Кушай. Сегодня так холодно на улице. Но подружки твои не мёрзнут. Ты поняла, какие подружки? Они тут, в доме, лежат, под полом. Я только что ходила к ним, просто так, чтобы посмотреть. Ничего особенного. Пахнут только плохо. Они там лежат в солёной воде. Варенье вкусное? Я сама делала. Черничное. Тут в лесу знаешь сколько черники? Всю не соберёшь.

– Я думала... Я думала, вы их уже... в песок зароете.

– Ну нет, кошечка, какой песок, ты что, в девочках столько всего хорошего! Они же там протухнут, под песком. А так мы их съедим потихоньку. На Новый Год, например.

Катя кладёт ложку в пустой горшок. В животе у неё теперь тепло и сытно, снова хочется спать. Ольга Матвеевна берёт горшок и ставит его на пол.

– Что надо сказать?

– Спасибо.

– Умница. А что надо сделать?

Подумав, Катя вытирает рукой рот и целует Ольгу Матвеевну в щёку.

– Умница. А помнишь, ты ветчину на день революции ела? Эту ветчину когда-то Ирочкой звали, – Ольга Матвеевна заливается смехом. – А ты не знала? А ведь вкусно было? – она хватает Катю за плечи, лицо её вдруг становится серьёзным. – Молитву помнишь? Бога помнишь? Снимай с себя всё.

Сойдя с крыльца, Катя начинает плакать от боли. Там, в изоляторе, она старалась сдержаться изо всех сил, чтобы Ольга Матвеевна совсем не озверела от её слёз. А теперь, на дворе, не может больше терпеть и ноет, медленно бредя к колонке, у неё сильно болит прокушенная Ольгой Матвеевной нижняя губа.

– Скотина... – тихо ноет Катя, пробуя опухшую губу пальцами и языком. – Скотина вонючая... Тебя бы так... Тебя бы так, сволочь...

Из губы всё ещё сочится кровь, Катя чувствует её солоноватый вкус.

– Дрянь... Падло... – всхлипывает она, набирая пригоршню воды и прижимая её к воспалённому рту. – Сдохла бы ты, падло...

Наспех натянутая одежда плохо сидит на Кате, и она всё время поёживается, остужая рот холодной водой. Руки её всё ещё немного дрожат, вспоминая тот тупой ужас во власти взбесившейся Ольги Матвеевны, которая каждую секунду может начать тебя бить, душить, кусать, стискивать нос, больно щипать щёки, уши, соски. Чем меньше саднит губа, тем больше Катя ощущает боль во всём остальном теле, измученном, покрытом свежими царапинами и синяками. Она прерывисто всхлипывает, судорожные рыдания мешают ей ругаться дальше, и Катя просто тихо воет, закрыв одной рукой глаза, чтобы ничего больше не видеть на этом проклятом свете. Если бы на самом деле был этот вонючий Бог, думает Катя, может, он забрал бы меня отсюда, но никакого Бога нет, есть только мохнатый ревущий слон, вырастающий от ужаса смерти, чтобы высосать своими хоботами всю твою кровь, чтобы ты умерла, ему нужна только твоя смерть, ему безразлично, чего ты хочешь, о чём думаешь, ему нужно, чтобы тебя не было, раз он так решил. И никуда он не может тебя забрать, потому что сам живёт здесь, и кроме той гадости, которая вокруг, нет на свете больше ничего, лишь пустота и жестокость, жестокость и пустота.

Слон сожрал уже Зину, и других тоже, убил и сожрал, как это отвратительно, гадко, мерзко, как может быть такая жизнь, где просто могут взять и сосать из тебя кровь, а тебе так плохо, так больно, а им всё равно, всем всё равно, потому что это твоя боль, от неё никому больше не больно, а наоборот бывает радостно, вот Надежда Васильевна например, у неё аж слюни капали, её трясло, будто слон делал ей то, что нельзя, очень было похоже, а какой ужас был только что с Ольгой Матвеевной, как она вцепилась Кате зубами в рот, она же хочет меня сожрать, живой, она меня сожрёт, как резко меняется у неё лицо, вот она смеётся, целует, нежно лижет и вдруг становится такой злой, проклятой, зубы выходят из-под губ, как у собаки, словно она видит вместо Кати перед собой что-то очень противное и страшное.

– Скотина, – шепчет Катя, с новой силой начиная плакать. – Скотина проклятая, – она плачет и вспоминает подвал, дышащие паром струи кипятка и режущие уши крики девочек, сжавшееся, пыльное тело убиваемой сапогами Лиды на полу подвала, мёртвую дырку Зининого рта, словно этот рот и кричит, так нечеловечески, истошно, от боли, которая проходит насквозь и не даёт чувствовать больше ничего.

И тогда Катя решает отдаться отвратительному слону, потому как рассуждает, что слон лучше Ольги Матвеевны, которая душит Катю не до конца, чтобы потом душить снова и заставить есть котлеты из человеческого мяса, а слон раздавит её один только раз своими бетонными ногами, один только раз, и тогда никто не сможет уже её больше мучить. Вздрагивая от слёз, Катя оглядывается вокруг, протирая глаза и придумывая какой-нибудь способ, как себя убить. Лучше всего было бы повеситься, как Никанор Филиппович, задушиться жёсткой тесёмкой, Катя с отвращением вспоминает посиневший язык удавившегося старика, его закатившиеся глаза и худые прыгучие ноги, как у дохлой собаки, и решает, что заткнёт чем-нибудь рот, чтобы её язык не вылез наружу. Поразмыслив немного, Катя вдруг изобретает себе виселицу, и душа её впервые за столько дней наполняется волнующим и лёгким холодом радости. Всё ещё всхлипывая, она идёт к сараю и вытаскивает оттуда пустое ведро, при помощи которого мыла полы. С ведром Катя направляется к столовой, где под плакатом «Береги хлеб – золото народа» она давно приметила торчащий из стены ржавый штырь, помогающий плакату не упасть. Катя ставит ведро дном вверх прямо под штырём, садится на него и, всхлипывая, снимает сапоги, потом носки, потом колготки. План Кати очень прост, и главная роль в нём отводится именно колготкам, поэтому она растягивает их руками, проверяя на прочность, в то время как её голые ноги уже начинает поедать нетерпеливый ноябрьский холод.

– Встать, руки вверх! – вдруг гавкает на неё из темноты, Катя испуганно оборачивается, пряча колготки под юбку, и видит сгорбленного от усердия Макарыча, прижавшегося к стене в мохнатой шапке, глаз его не различить в темноте, но смотрят они с собачьей злобой. – Встать, курва!

Катя встаёт и поднимает руки. Колготки выползают из-под её юбки и валятся на землю, у босых ног. Земля холодная и жёсткая.

– Ты шо здесь делаешь, тварь? – спрашивает Макарыч.

– Ведро... в сарай несла, – отвечает Катя.

– А сапоги зачем стащила?

– Камешек в колготки попал.

Макарыч подходит к Кате вплотную и без размаха, но сильно бьёт её в зубы. Оглушённая Катя, чуть повернувшись, валится на землю.

– Камушек, говоришь? – сипит он. – Я тебе покажу камушек! Уже час как отбой был, а ты тут шатаешься! Саботаж сделать хочешь, курва?

С этими словами Макарыч со злостью пинает Катю ногой. Лёжа на земле, Катя глядит в чёрное небо, поросшее бледными цветочками звёзд, и вытирает рукой нос, разбитый до крови. Макарыч хватает её рукой за шиворот и тянет кверху, передавливая горло.

– Удавиться хотела – это ясно, – хрипит он ей в лицо, дыхание его отдаёт спиртом и гнилой вонью зубов. – А зачем обувку сняла? А, сука?

– Не бейте меня, – с трудом выговаривает Катя. – Я вам всё, что захотите, сделаю.

– Ишь ты, рыбка золотая, – удивляется Макарыч. – Что же ты мне такое сделать можешь, вша?

– Что хотите, – шепчет Катя, из носа которой течёт кровь. – Жопу буду вам лизать.

– Вша, – хрипит Макарыч. – Такая маленькая, а уже мерзкая вша, – он притискивает Катю к стене и начинает щупать ей своими узловатыми руками ноги и попу. – Ишь ты, пакость какая...

Прижавшись виском к кирпичам, Катя глядит в темноту, где очень плохо видны от зябкой сырости звёзды. Синяки на бёдрах тоскливо болят, когда их сжимают пальцы Макарыча, зловонное дыхание старика лежит на лице, как душный шарф. Макарыч всё время говорит, что она – мерзкая вша, а потом вдруг давится и начинает кашлять. Покашляв, он отступает от Кати и снова бьёт её кулаком в лицо. Катя бессильно сползает по стене на землю.

– Так что, гнида, – надсадно спрашивает её Макарыч. – Удавиться хотела? Ведь не удавишься. Ну, давай, давись, я погляжу. – Он поднимает Катю за плечи и взволакивает на ведро, придерживая за ватник, набрасывает колготки на штырь и крепко затягивает их узлом, потом снимает с Кати за рукава ватник, закидывает ей голову и наматывает другой конец колготок на шею. – Вот так, шмокодявка. Сама бы и не достала. На, держи, – он суёт Кате свободный конец колготок в руки. Катя втягивает носом пахнущие кровью сопли и смотрит Макарычу в его кривую морду. У неё медленно кружится голова, голые ноги сильно мёрзнут в потоках ночного холода и от стылого дна ведра.

– Ты подумай, больно будет, – предупреждает Макарыч. – И темно. Не увидишь больше ни солнышка, мать его, ни птичек,

ни цветочков. Так как? Будешь давиться? Никогда ведь больше не увидишь, сучье семя.

Как это будет хорошо, думает Катя и затягивает бесчувственными пальцами колготки потуже, пока её не начинает немного тянуть вверх, к штырю, в чёрное небо. Она зажмуривается и вдруг прыгает вбок, отталкивая ведро обеими ногами, слышит вверху ужасный треск, это слон, слон ломает цемент интернатской стены, Кате становится очень страшно на лету, она уже совсем не хочет умирать, но поздно, ведро улетело из-под ног, всё небо стало белым, с хрустом вспыхивают пятна молний, давящая шею костяная боль пылающего, смертельного света заливает глаза и меркнет, меркнет, пока всё не превращается в непроницаемую тьму.

– Ох ты, еби твою мать, – вздрагивает Макарыч, не успевший в последний момент ухватить тихо хрустнувшую шейными позвонками Катю рукой за ватник. Катя ёрзает по стене, механически пиная её коленками и вся содрогаясь на весу. Колготки растягиваются под её весом, но ступни Кати всё равно никак не могут достать до земли. Катя сдавленно, по-жабьи, хрипит, выпускает вниз тоненькую струйку мочи и, наконец, спокойно повисает на фоне стены, расслабив ноги.

Макарыч подходит к ней поближе и снова ощупывает Кате бёдра. Они мокрые от мочи. Хрипло дыша, старик вытаскивает из кармана папироску, запаливает её, засовывает в рот, а спичку гасит о мокрое бледное бедро девочки. Кате уже не больно.

Целую минуту Макарыч молча стоит и курит, глядя на висящую под плакатом девочку, в момент смерти повернувшуюся к нему боком, голова Кати завалилась от стены, руки и ноги бессильно повисли, стриженые волосы свешиваются по плечу, лицо перекошено от страшной предсмертной боли, Макарыч курит и думает о детской смерти, которая продолжается непрерывно в слабом свете неподвижных звёзд, во время Гражданской Войны он видел, как насиловали, били прикладами и вешали детей, дети всегда дрыгались и писались на верёвке, как марионетки, и Макарыч рассуждает, что это, наверное, важно, чтобы непрерывно, каждодневно умирали дети, важно для пребывания всего мира, потому что когда умирают старые и больные, для чего это может быть важно? Осознав эту существенную мысль, Макарыч поворачивается и медленно уходит во мрак.

ЗИМА

Макарыч уходит, а Катя продолжает висеть. Она висит, когда, кутаясь в ватник, Ольга Матвеевна выходит на крыльцо каменного дома, откуда отпустила Катю сходить в туалет, выходит и останавливается, привыкая к темноте, потом тихо зовёт Катю по имени, глядя себе под ноги, спускается по ступенькам, почему-то смотрит вверх, на небо, словно Катя могла улететь туда, и идёт к деревянному сортиру, держа ватник рукой на груди, доходит до колонки, оглядывается и вдруг замечает Катю, которая так нелепо, как смятая одежда, как чучело, висит под плакатом, Ольга Матвеевна вскрикивает и бежит, спотыкается в неудобно надетых сапогах, налетает на Катю всем телом, приподнимает её, прижимается губами к открытой, передавленной чулком колготок шее, ища пульс, но пульса нет, и Ольга Матвеевна начинает гадко, зверино выть и тяжело, как поражённая пулей, валится на землю, затыкая себе сжатыми руками рот, и воет, вздрагивая, дёргая головой, и роет землю каблуками сапог. От её звериного воя всё просыпается в интернате, девочки в бараках зажмуривают глаза и накрываются плохими одеялами с головой, сонная Валентина Харитоновна крестится в своей тёмной комнатке, как крестилась в избе её морщинистая суеверная бабка, закатив свои полуслепые глаза, Надежда Васильевна поднимает светлый взгляд от распростёртой на столе книги товарища Сталина и холодно, обречённо смотрит в ночное окно, как волк, осознавший, наконец, что его совершенно обложили, и только Макарыч, добравшийся уже до тесного своего логова, отвечает Ольге Матвеевне из холодного мрака хриплым, злым воем ветерана отгремевших мировых войн.

Вечером следующего дня у ворот интерната сигналит машина, такая чёрная, что фары её подобны шаровым молниям, случайно встретившимся в ночной темноте. Из машины выходят молодой полнощёкий штатский и двое в военной форме. Макарыч отдаёт им честь.

– *Ваш* сигнал, товарищ? – тихо спрашивает его полнощёкий, узко улыбаясь. Он протягивает свою женственную руку и проводит ладонью по заросшей седой щетиной щеке ветерана. Нежность этой руки согревает и радует старика. – Не волнуйтесь, товарищ, мы во всём разберёмся.

Приезжие проходят в каменный дом, в окнах которого не горит свет. Макарыч закуривает, надвинув шапку на лоб, и, слегка прихрамывая, идёт к сортиру, где собралась маленькая стайка любопытных девочек.

– А ну все по баракам! – хрипло гаркает он.

– Так ведь ссать охота! – отважно выкрикивает ему навстречу одна из собравшихся.

– По баракам, мать вашу! Бегом! – орёт Макарыч звериным рёвом, и девочки бросаются врассыпную, хлопают двери бараков.

Из каменного дома выходит полнощёкий и с ним Ольга Матвеевна, волосы её не причёсаны, ватник расстёгнут. Она смотрит на Макарыча невидящими глазами и всё время проводит рукой по лицу. Макарыч отворачивается и роняет в землю сгусток харкотины. С крыльца сбегает Надежда Васильевна, резкими движениями поправляя на себе одежду, она подбегает к полнощёкому, что-то быстро говоря ему уже на ходу. Полнощёкий узко улыбается и держит женственные руки в карманах плаща. Ослепительный свет фар подъезжающей машины заливает стоящих у крыльца, словно ветер, заносящий их фигуры тонким белым песком. Ольга Матвеевна, нагнувшись, входит в фургон. Военные вытаскивают из здания столовой какие-то мешки и грузят их вслед за ней. Полнощёкий поднимает руку и лениво машет Макарычу, старик снова отдаёт ему честь. Избавившись от мешков, военные отряхиваются, один из них забирается в кабину, второй в фургон. Машина неуклюже разворачивается в узком пространстве двора, водя фарами по деревянным стенам бараков, потом, зарычав, выезжает воротами в песчаные холмы, а оттуда в холодный лесной простор.

Чёрные стволы деревьев расходятся под качающимся светом фар, тени их скользят в высоту, к ночному дымному небу, родине всех теней, и иногда даже кажется, что некие большие угольные рыбы, стоящие у стволов высоко над землёй, срываются и уходят в чащу, испуганные непривычным светом. Машина сворачивает с основной дороги, ведущей через лес, на узкую просеку, проезжает по ней с километр и останавливается, погасив фары.

Полнощёкий прохаживается у кабины, разминая ноги.

– Что-то с машиной? – спрашивает его Надежда Васильевна, одолжившая у второго военного папироску и пытающаяся её прикурить дрожащими пальцами.

– С машиной всё в порядке, – весело отвечает полнощёкий. – Сейчас тебя выебем и дальше поедем.

Надежда Васильевна ничего не отвечает, только продолжает свои попытки прикурить. Четвёртая спичка ломается у неё в руках. Из фургона вылезает Ольга Матвеевна, прислоняется спиной к машине и смотрит в лес.

– Ну что, ребята, кто её первый будет? – спрашивает полнощёкий.

– А мы и вдвоём можем, – смеётся второй военный, протягивая Надежде Васильевне зажигалку. – Или сначала эту?

– Нет, эту я сам. Приступайте.

Второй военный дожидается, пока Надежде Васильевне удаётся прикурить.

– Вас как зовут? – спрашивает он затем. – А меня зовут Петя. Лезьте, пожалуйста, в кузов и снимайте одежду.

Надежда Васильевна стоит и курит дрожащей рукой, словно не слыша.

– Послушайте, товарищ Волопаева, – замечает полнощёкий. – Мы тут с вами не шутки шутим, у нас времени в обрез. Полезай в фургон, блядская кобыла!

Надежда Васильевна испуганно бросает папироску и тупо смотрит в лицо полнощёкому. Второй военный и покинувший кабину водитель хватают её и волокут в низкую дверь, она упирается ногами и жалобно стонет. Дверь захлопывается, женщина сильно бьёт в неё сапогами изнутри.

– Давайте отойдём от машины, Ольга Матвеевна, – говорит полнощёкий. – Пройдёмся, воздухом подышим. Может, закурите?

– Нет, спасибо.

– Вы, Ольга Матвеевна, я вижу, женщина особенная. И вы, полагаю, достаточно умны, чтобы понимать, насколько всё произошедшее здесь выходит, так сказать, за рамки... Нет, я имею в виду не рамки закона или некоей гипотетической *морали*, я имею в виду иные рамки, Ольга Матвеевна, совершенно иные. Я имею в виду ту черту, которая проведена без нашего с вами уча-

стия, черту, так сказать, самого существования, может быть, я не совсем ясно выражаюсь... Позвольте вашу руку, Ольга Матвеевна. Какая у вас холодная рука. Вам холодно? Не стоит даже и упоминать о том, что события, которые происходили в подведомственном вам учреждении, не просто не должны были иметь место, они *не могли*, я повторяю, *не могли* происходить. Надеюсь, это не вызовет с вашей стороны возражений? Нет. Хорошо. Однако вот чего я не пойму. Как же они всё-таки происходили, если их и быть-то не могло? А, Ольга Матвеевна?

– Зачем вы всё это говорите? – устало спрашивает Ольга Матвеевна.

– Я пытаюсь, если позволите, выяснить. Установить истину в её кристальном виде. Всем нам по природе свойственно искать выхода из того положения, в котором мы находимся, из нашего бренного, так сказать, существования, но почему, дорогая Ольга Матвеевна, почему? Кто сказал, что выход этот обязательно существует? – полнощёкий вдруг резко останавливается между древесными стволами. – Вы не были здесь?

– Извините?

– Раньше? Вы не были здесь уже раньше?

– Нет. Я не была здесь раньше.

– И меня вы раньше никогда не видели?

– Как ваше имя?

– Меня зовут Спиридон Борисович, но это не имеет никакого отношения к делу. Вам обязательно нужно знать моё имя, прежде чем вы станете мне пенис сосать? Вы хотите ориентироваться в пространстве, что ж, это понятно, но поверьте, Ольга Матвеевна, слова не предоставляют нам такой возможности. Этой функцией они не обладают. Так что же, вспомнили?

– Я не видела вас раньше.

– Ошибаетесь. Вот тут вы, дорогая, и ошибаетесь. Возможно, это даже ваша главная ошибка. Ну что ж, картина в таком случае проясняется.

– Значит, вы не из НКВД?

– Напротив. Я как раз из НКВД. Но это тоже ведь только название.

– Я понимаю, что мы туда не поедем.

– Ах, вы это понимаете? Ну, неудивительно. Давайте, Ольга Матвеевна, остановимся здесь. Холодная сегодня ночь, звёзд не

видно, сейчас пойдёт снег. Вот он, видите, уже падает. Этой осенью ещё не было снега.

Из небесной черноты и вправду начинает сыпаться редкий кружащийся снег. Ольга Матвеевна прячет руки в карманы, чтобы было не так холодно, и смотрит на своего спутника. Снежинки падают мимо её лица, прилипая к ресницам.

– Так вы, значит, настаиваете на своей правоте? – тихо произносит полнощёкий. – Ленинизм, вам, стало быть, не указ?

– Бросьте, – тихо и серьёзно отвечает Ольга Матвеевна. – Какой ещё ленинизм.

– Ленин, Ольга Матвеевна, это не личность, это не учение. Это – закон. Закон, пожирающий своих исполнителей. Что вы на меня так смотрите? Я не стану насиловать вас, мне не нужны эти частности. Меня интересует общее положение дел. Видите эти ямы? Они вырыты тут уже давно. Когда идут дожди, вода собирается на дне, превращая их в лужи. Я видел, как лесные звери пьют из них воду. Чего же вам ещё нужно? Что же вы не встанете на колени, не всмотритесь вглубь земли?

Ольга Матвеевна подходит к краю ближайшей ямы и опускается на колени. Спиридон Борисович идёт следом, вынимает из кармана пистолет и приставляет его сзади к её голове. В лесу стоит тишина, нарушаемая только отдалёнными глухими криками Надежды Васильевны, которой рвут ногтями срамную кожу в чёрной тьме автомобиля. Обнажённые деревья, неподвижно погружённые в зимний сон, сплетают свои ветви в угольную кровеносную сеть.

– Вы, кажется, хотели что-то сказать? Вы даже не читали подписанных вами бумаг. Ведь это всё чушь, Ольга Матвеевна, чушь, под которой стоит ваша красивая подпись. Так вы хотели что-то сказать?

– Я ненавижу нас, – тихо говорит Ольга Матвеевна, вынимая руки из карманов и раскрывая ладони перед собой. – Всех.

– За что?

– За то, что мы есть. Нам всем нужно исчезнуть бесследно.

– Вот как? А что же останется? Видите ли, Ольга Матвеевна, здесь вы снова намереваетесь преступить черту, полагая, что именно за ней находится избавление. Ранее я часто думал найти такую женщину, как вы, которая обладает достаточной внутренней силой, чтобы ненавидеть жизнь, найти такую женщину и

использовать как обычную, сделать её беременной коровой, но теперь я, под влиянием, – пистолет в руке Спиридона Борисовича вдруг оглушительно хлопает, Ольгу Матвеевну сильно толкает вперёд за голову, и она кувырком валится в яму, с плеском ударяясь боком в воду на её дне, – произошедших событий окончательно понимаю, что мысль эта сама по себе глупа, потому что дело, Ольга Матвеевна, видите ли, не в человеке, а в продуцируемой им душевной силе, как то вашей, к примеру, любви, и когда сила иссякает, тут для меня нет больше интереса, и человек сразу превращается в труп, поэтому я при подобных обстоятельствах не задаюсь вопросом о причинах, чтобы не впадать в банальнейшую ошибку философии, спрашивая, *зачем* или же *почему*, нет, я перевожу дело в иную плоскость, я задаю конкретные вопросы, решаемые обычно наукой, а именно: *когда* вы, Ольга Матвеевна, лишились своей души, оставшись только с вышеупомянутой вами ненавистью, и *куда* делась она, столь скоропостижно вас покинув?

Спиридон Борисович прячет пистолет в карман и задумчиво бредёт к машине, откуда всё явственнее слышен вой беспощадно насилуемой женщины. Подойдя к кабине, он ударяет кулаком по двери фургона. Вой обрывается, и двое расхристанных мужчин выволакивают наружу полуголую Надежду Васильевну, неумело сгибающую ноги, они, да и рот её, в крови, под глазом синяк, она охрипла от крика и закидывает голову назад, потому что из носа тоже сочится кровь.

– Туда, – махает рукой Спиридон Борисович в ту сторону, откуда пришёл. Военные хватают женщину за руки и тащат к ямам. Она снова начинает хрипло квохтать, булькая кровью, тогда тот, кто вёл машину, коротко бьёт Надежду Васильевну пистолетом по голове, и дальше слышен только удаляющийся треск кустов, которыми волокут её тяжёлое тело. Наступает тишина, потом хлопают два выстрела. Спиридон Борисович садится в кабину, вытянув ноги через проём открытой двери наружу. Окружающая машину лесная мгла наполняет его спокойствием и непрерывной чёткостью хода космического времени.

– Девчонок туда же? – спрашивает его вышедший на просеку военный, назвавшийся Петром.

– Да, всё в яму. Чего два раза стреляли?

– Да Певцов её живой в яму повалил, а потом с первого раза по башке не попал.

– Не жалко было её, Шаталов, только что нафаршированную?

– Да мало их, что ли, Спиридон Борисович.

– Точно. Ну, давайте, тащите туда девчонок. Вытряхнете их, мешки сверху побросайте и зарывайте. Быстрее, быстрее, ребята, времени мало, – Спиридон Борисович откидывается на сидении машины, закрывая глаза. Он не спал уже двое суток.

Двое военных сволакивают мешки из фургона к яме и вытряхивают из них вонючие детские трупы. Тело Зины, перекатившись через плечо, утыкается коленом в землю и застревает на склоне, водителю приходится сбросить его на дно пинком ноги. Непристойно раскинув ноги, девочка валится на труп Надежды Васильевны, забрызгавший Ольгу Матвеевну кровью из своей разбитой головы. Другие трупы сбрасывают по воздуху, взяв за плечи, и они падают друг на друга с чавкающими глухими шлепками, протекая тёмной гнилой кровью. Водитель ругается матом, жмурясь от летящего в глаза снега.

Катю вытряхивают из последнего мешка. Снег падает ей в сжатое смертельной судорогой лицо, попадая в раскрытый рот. По шее проходит лиловый рубец от колготок.

– Это та, что удавилась, – говорит водитель. – Уже опухла, сука.

– Слушай, Вовка, погоди, – Пётр вдруг расстёгивает штаны, начиная тихо, воркующе смеяться. – Погоди, Вовка, гляди. Рот раскрыла, она пить хочет, – он смеётся, широко уперев ноги над Катиной головой, и пускает мочу, целясь девочке в рот. От смеха он по временам перестаёт попадать, пробрызгивая дорожкой семенящих капель по лицу. Моча всё же быстро наполняет рот девочки и переливается через губы. – А теперь, Вовка, смотри фокус, – говорит Пётр, встряхнувшись и пряча. Он приподнимает одну ногу и наступает ею Кате на живот. Катя вдруг сильно, хрипло рыгает, бульканьем выбрасывая мочу изо рта маленьким родничком. Водитель с руганью отшатывается от неё.

– Да не шарахайся, дурило, – хохочет Пётр. – Это ж газы ртом вышли. Я надавил, газы вышли. А ты, дурак, испугался. Давай скинем.

– Да ну тебя на хуй, – мрачно говорит водитель, поднимая лопату. – Сам скидывай.

– Да помоги ты, ёлки зелёные, – с удивлением разводит руками Пётр.

– Говорю, сам скидывай. Какого хрена ты на неё ссал?

– А шо такое? Она же никому не расскажет, – смеётся Пётр. – Правда, детка? – Пётр приседает, берёт Катю за ноги, протаскивает по земле и, крякнув, швыряет её в яму. – Тяжёлая, блядь, – вздыхает он, снова выпрямляясь. – Ну, если я ссать хотел, так что мне, до города терпеть? А то, что на неё ссал, на девчонку, так это по ошибке. Не заметил, ебёна мать. Что тут видно в темноте, а она лежит, как колода. Так что ты уж, брат, извини.

Водитель молча упирает лопату и наседает на неё ногой. Они зарывают яму, ничего не говоря, только тяжело дышат. Лезвия лопат с металлическим харканьем врезаются в холодную землю, наметённую кучей на краю ямы, комья сыплются вниз, покрывая голые тела мертвецов стохастической рябью помех, словно они разъедаются ветром сухого гниения и порывами растворяются прямо на глазах. Вскоре трупы уже не видны под слоем земли, а двое с лопатами всё продолжают бросать комья на то место, где они были когда-то, чтобы никто не смог отличить его от других лесных мест, чтобы оно поросло обычной травой и древесной молодью, чтобы вылупились тут одной осенью из-подо мха грибы и чтобы память человеческая не нарушала постепенного врастания корней, выделяя здесь могилу, потому что все могилы на земле всё равно теряются, а трупы, некогда заложенные в них, всё равно рассыпаются в прах, и нет, по большому счёту, нужды их вспоминать.

Когда яма сравнивается с поверхностью почвы, они утаптывают место захоронения сапогами и нагребают на него давно умершую траву, оторванную от земли ещё во время углубления ямы.

– Ветками надо забросать, – замечает Пётр.

Водитель с размаху втыкает лопату в грунт, чтобы освободить руки для новой работы. Под его ногами, под тяжёлым рыхлым слоем земли, где он не может видеть и слышать, в грязной ношенной одежде, которую никому даже и в голову не приходило для дальнейшего использования снять, судорожно сжимается детское тело, выворачивается и еле различимо стонет от нечеловеческой, тупо порющей живот боли, и кровь вытекает изо рта на щеку, маслянистой, чёрной струйкой, и сырая чёрная земля засыпается в поменявший положение рот, потому что всё там, ниже земли, чёрное, нет там места свету, там прячет природа только то, что уже не нужно и должно стать бесформенной мёртвой нефтью будущей жизни, и ещё тех, кто трудится над разрушением

формы, поедая погребённым руки, рты и глаза. Режущий удар лопаты. Катя снова начинает жить. Они уходят прочь, неслышно ступая сапогами в угольную пыль умирающей осени, они уходят, и она перестаёт чувствовать их живое тепло, только влажное тепло мёртвых, гниением своим согревающих её, словно она – их единственная надежда, словно они и умерли ради того, чтобы она жила. Катя лежит под землёй, закрыв глаза, всё вокруг неё молчит в повальной глухоте, только с тихим, неровно пузырящимся шипением киснут трупы и где-то высоко, за стеной земли, падают бумажные снежинки, совсем не холодные, как вода после мороженого. Катя лежит неподвижно и ни о чём не думает, только странное удивление застыло в ней, как же всё изменилось со времени её смерти, словно она никогда и не жила здесь.

Катя лежит долго, половину ночи, пока не приходит Тузик. Тузик – это крупный, рыжий бродячий кобель, живущий в лесу, как волк, у него никогда не было хозяина, может быть, у его матери был, но сам Тузик родился в норе на городской свалке, потерял в драке кусок морды, потом мальчишки покалечили ему камнем глаз, потом он напал на другого мальчишку в сумерках жаркого позапрошлого лета и разорвал ему ногу. Мальчишка упал и не мог сопротивляться от боли, Тузик мог бы его загрызть, но не стал, он до сих пор вспоминает искажённое от боли лицо маленького человека, в котором не было ненависти, а только страх. Понимая, что бесконечная стая людей начнёт теперь ему мстить, Тузик тем же вечером ушёл со свалки в лес, где окончательно одичал, охотится на зайцев, крадёт кур в далёком колхозе за рекой, которую преодолевает вплавь, а не так давно он обнаружил и это место, место, где всегда есть мертвечина.

Собственно, у Тузика ещё в запасе соседняя могила, которую он прокопал с месяц назад и каждый день носит из ямы гнилое мясо, но сейчас он чует запах свежей падали и, с сатанинским рычанием набросившись на утоптанную сапогами землю, роет её всеми четырьмя лапами, фонтаном выбрасывая комья из-под брюха назад. За время рытья спина Тузика слегка белеет от нападавшего снега, из оскаленной пасти валит пар, он надрывно, жадно рычит от голода и дёргается из стороны в сторону, постепенно уходя в землю, смачный запах человеческого мяса обтекает его, как дым, с зубов капает слюнная пена, из всей жратвы Тузик больше всего любит человечину, даже прокисшей до черноты

сохраняет она свою сладость, а под ним сейчас свежие трупы, крупные, свежие трупы только что убитых женщин, много мяса, свежего, сладкого мяса, даже кровь ещё не успела окончательно остыть, её можно есть сейчас, эту вязкую мёртвую кровь, как мягкий хлеб, Тузик уже чувствует её вкус в пасти и хрипло скулит от нетерпения, вот лапы его вместо несъедобной земли уже задевают тёплую падаль, вдруг оттуда, снизу, что-то хватает его за ногу, хрустит кость, от страшной боли Тузик рвётся назад, щёлкая зубами, земля обрушивается под ним, он перебирает ногами и злобно гавкает, из-под обрушившегося слоя показываются голова, плечи, колени закопанной девочки, она малоподвижна, но крепко держит рукой переднюю лапу пса, Тузик снова дёргается назад, упираясь задними лапами в склон рытвины, и силой своей вытаскивает девочку ещё больше из могилы, тёмные глаза её останавливаются на его морде, она тихо, злобно шипит, как кошка, Тузик поджимает хвост и бешено скулит от ужаса, змеино дёргаясь в попытках вырвать лапу, но вторая рука тоже хватается за неё, повыше, под плечом, и колено сильно бьёт кобеля в бок, валит на землю, Тузик вскидывается и отчаянно кусает руки девочки, силясь их отгрызть, она притягивает его к себе и впивается зубами прямо в морду, срывает часть верхней губы, снова впивается, теперь в повреждённый глаз, пёс рвёт голову, рычит, упирается лапами, она хватает его рукой за горло, сцепившись, они возятся в земле, утробно рыча и обливаясь кровью, наконец, всё стихает. Катя пьёт горячую собачью кровь, обильно текущую ей через всё лицо, под ворот одежды, по груди и в землю. Пальцы её разжимаются и стискиваются снова, захватывая рыжую шерсть вместе с кожей, глаза, словно сделанные из тёмного бутылочного стекла, неподвижно смотрят вверх. Снег, падающий в них, тает медленно, подолгу задерживаясь на поверхности и лишь постепенно превращаясь в ледяные капли, на лице же не тает вовсе, покрывая щёки девочки лёгкой белой плесенью.

Ввиду наступивших холодов комсомолка Галя Волчок отправляется в лес за топливом. Вместе с ней идут две девочки – Юля Невская и Рита Панечкина, девочки обуты в валенки и тащат по свежему утреннему снегу санки для будущего хвороста. Галя Волчок, вооружённая топором, идёт впереди, протаптывая тропу, изредка подгоняя окриками усталую детскую рабочую силу, она не раз ходила уже за хворостом прошлой зимой и знает

места. Они выходят на край лесного болота, поросший кривыми чёрными ёлками, где девочки, оставив санки, начинают выкапывать и вязать верёвками засыпанный снегом палый камыш, выдирая пунцовыми руками из мёрзлой земли шуршащие жёлтые стебли, даже бледные от постоянного недоедания щёки розовеют от холодного ветерка, идущего откуда-то с пасмурной высоты, а Галя молча углубляется в лес, отыскивая валежник, иногда она поднимает лицо и следит, как стволы деревьев уносят индевелые ветки ввысь, к матовому свету неба. Услышав сбоку тихий хруст ветки, она оборачивается и видит совсем близко, в нескольких шагах от себя, как осыпается снег с веточек кустов. Ей вдруг почему-то становится страшно, она оглядывается по сторонам, но всюду неподвижность и тишина, Галя успокаивается и идёт дальше, прижимая собранную охапку рукой к животу, в стороне она замечает поваленный ствол, подбирается к нему и бросает ветки рядом в снег. Она начинает обсекать топором сучки со ствола и вдруг снова чувствует, что кто-то есть у неё за спиной. Галя резко поворачивается назад и вскрикивает.

Катя стоит босиком прямо на снегу, одетая в перепачканный землёй свитер, порванный зубами Тузика на плече, в волосах у неё тоже земля и ещё снег, свитер и лицо в пятнах крови, на шее виден багровый рубец от колготочной петли.

– Ты чё? – спрашивает Галя, совершенно не веря тому, что видит. – Ты чё здесь делаешь?

Катя молчит и смотрит на неё, не мигая. Кожа на её лице там, где цела, серого цвета, а глаза темны, как вода подо льдом.

– Котова? – неуверенно говорит Галя. – Ты ж повесилась. Ты же мёртвая должна быть.

– Сама ты мёртвая должна быть, – хрипло произносит Катя, в голосе которой слышны слёзы. – Хоть бы сапоги на меня надели.

– Так... ты же... ты же не дышала.

– Накрыли бы хоть чем. Одеялом, что ли.

Галя молча смотрит на посиневшие руки девочки, втянутые в рукава свитера.

– Дай ватник, – вдруг говорит Катя, из носа которой вытекает чёрная струйка крови. Она прижимает рукав к лицу. – Дай ватник, сволочь.

– Пошла отсюда! – орёт на неё Галя, поднимая топор, и быстро крестится свободной рукой. – Пошла отсюда, пошла!

Катя делает шаг и бросается на девушку, которая с визгом отшатывается и неудачно пытается ударить её топором. Руками и коленом Галя отбрасывает Катю на хрустнувшую охапку веток, но та переворачивается и снова встаёт.

– Уйди, – воет Галя. – Уйди, гадина, – слёзы бегут по её щекам, остывая на ветру.

Катя сглатывает и рыгает.

– Дай ватник, – хрипло говорит она. – Дай тёплой крови пососать.

Галя всхлипывает и бросается бежать, не выпуская из руки топор, но мёртвая пионерка настигает её и прыгает на спину, Галя со стоном валится с ног в кусты, оцарапав щёки, бьёт Катю локтем по лицу, привстаёт и снова падает, царапая лицо о жёсткие ветки, она хочет кричать, но только глупо стонет, отбиваясь от вёрткой, шипящей и брызгающей чёрной носовой кровью девочки, бьёт её кулаком в зубы, коленом в бок, отползает по снегу в сторону, как вдруг тёмная острая боль сжимает ей нос, разрывает глаза, и она совершенно перестаёт видеть.

– Ой, – всхлипывает Галя, берясь пальцами за своё лицо и чувствуя ладонями текущую из глаз кровь. – Я ничего не вижу.

Чёрное Катино дыхание уже ушло с её лица, но ослепшие глаза горят чёрным огнём, пробирающимся всё глубже в Галину голову. Она сидит среди кустов, вытирая ладонями кровь с лица, руки её дрожат. Катя подходит к ней спереди, бесшумно передвигаясь в темноте, и с размаху рубит топором по лицу. Галя валится набок в снег. Опустившись на колени, Катя отворачивает руками намокшие пряди волос и, чмокая, сосёт кровь прямо из расколотой головы. Глаза девушки превратились в кровавые рваные дыры, по краям которых торчат острые осколки багрового льда. Когда становится трудно высасывать, Катя разрывает зубами горло Гали и пьёт оттуда. Горловая кровь чище и теплее, она напористо прыгает Кате в рот, как маленький родничок. Напившись, Катя стаскивает с Гали ватник и кутается в него, поминутно икая, потом приседает над трупом и старательно мочится Гале в рот, держа её голову рукой и пристально глядя вниз, на свою неровную бурую струю. Потом она несколькими ударами отсекает Гале руку от локтя, бросает топор и натирает пятерню отрубленной руки снегом, старательно распрямляя пальцы и прижимая свою ладонь к Галиной. Наконец она встаёт, в распахнувшемся ватнике, держа руку

девушки, как меч, оправляет на себе свитер и идёт к болоту, оставляя на снегу маленькие босые следы.

– Радуйтесь, колдуны зла, – шепчет она. – Я убила себя, ту хорошую себя, повесила на железном штыре. Она висела там дни и ночи, как гниющее яблоко, которое не хочет упасть. Радуйтесь, колдуны зла, я убила её, я стала теперь сама собой. Вы заколдовали меня, вы превратили моё сердце в кусок чёрного снега. Радуйтесь, колдуны зла.

Так она идёт, разговаривая с деревьями, повторяя одно и то же, и из носа её течёт чёрная кровь, и за частоколами тёмных стволов, там, в лесной глубине, слышит она шорох их пространных одежд о стволы, и они представляются ей бестелыми существами из одних деревянных голов, хотя она понимает, что это может быть лишь одна из их форм, они проходят там, в лесной глубине, неуловимые, немые и сгорбленные, неизвестно куда, и они не должны ей говорить, она сама знает, чего они хотят.

Увидев Катю, Юля Невская замирает с камышом в руках, а Рита Панечкина, зашедшая как раз за кривую ёлку, решает не выходить, приседая коленями в снег. Катя подходит к Юле совсем близко и, остановившись напротив дрожащей девочки, нюхает её лицо, глаза, волосы, посапывая носом, где примёрзла чёрная кровь. От Кати так гадко пахнет, что Юле приходится напрячь все свои силы, чтобы не сморщиться.

– Сними... сапоги, – шепчет Катя. – И иди, туда... к берёзе. Только не беги. Стань там и стой.

Юля разувается и медленно, оглядываясь, идёт к высокой, особо стоящей у болота берёзе. Катя влезает в оставленные девочкой сапоги и стукает ногой об ногу.

– Эй ты, там, за ёлкой! – хрипло вскрикивает она. – Я тебя вижу!

Рита Панечкина вырывается из-под тёмных еловых лап и бросается бежать через болото, но резко спотыкается, падает, хватается руками за сапог и начинает жалобно стонать.

– Думала убежишь, какашка? – тихо говорит Катя, опуская руку Гали Волчок. – Не убежишь.

Рита со стонами привстаёт и ковыляет дальше. Катя подходит к Юле Невской, велит ей прислониться спиной к дереву и связывает камышиными стеблями руки девочки за стволом.

– Что ты хочешь со мной сделать? – тихо спрашивает Юля. – Я тут замёрзну.

– Как? – не понимает Катя. – Тут тепло совсем.

– Мне холодно, – ужасается Юля. – Холодно же.

– Холодно? – Катя смотрит Юле в лицо своими страшными невидящими глазами, и той становится так жутко, что она начинает кричать.

– Ох, что ты, заткнись! – шипит на неё Катя. – Не ори, сволочь, а то я тебя сейчас убью.

Юля верит и замолкает, продолжая дрожать от ужаса.

– Жди меня здесь, я скоро вернусь, – обещает Катя и идёт по болоту по следу ушедшей Риты Панечкиной. Она нагоняет её через несколько минут, потому что Рита еле идёт, сильно хромая на одну ногу. Заметив сзади Катю, она садится в снег и визжит, заливаясь слезами.

– Да замолчи же ты, – говорит Катя, подходя ближе.

– Я, вот... ногу вывернула... – плачет Рита от страха и злости на свою проклятую судьбу. – Нога болит, я идти не могу...

– Ничего ты не вывернула, – поправляет её Катя. – Она у тебя почернела вся.

– Вывернула, вывернула! – рыдает Рита.

– Да заткнись, гадина, – кривится Катя, из носа которой снова начинает идти кровь. – Заткнись! – она рубит воздух мёртвой Галиной рукой, и у Риты лопается голова, кровь струями выплёскивается изо рта и носа вперёд, заливает лицо из глаз, убитая девочка откидывается назад, валится спиной в снег. На болоте снова наступает тишина. Катя подходит вплотную к своей жертве и внимательно осматривает труп, словно ищет какую-то упавшую на него маленькую вещь. Потом она наступает сапогом Рите на кровавое лицо. Под подошвой битым стеклом хрустит кровь, уже превратившаяся в наст.

За полдень по следам пропавших собирательниц хвороста приходят Валентина Харитоновна и помощница новой начальницы интерната Ангелина Давыдовна, рослая женщина крестьянского происхождения, лет сорока, в армейской ушанке и с толстой русой косой. За спиной Ангелина Давыдовна несёт винтовку, чтобы поразить пулей любого врага советской власти, будь то зверь или человек. Валентина Никаноровна старательно хрустит снегом позади своей новой подруги, потому что мать её принадлежала к декадентской русской интеллигенции и не напитала дочь достаточным количеством жирной крови. Увидев

брошенные полузаваленные хворостом санки, Ангелина Давыдовна берёт винтовку в руки и смотрит через истоптанный снег на берёзу, к которой привязана Юля Невская с рукавицей во рту. Что-то падает сзади неё в снег, она резко поворачивается и видит труп Валентины Харитоновны, лежащий на смутных от то и дело перестающего падать снега саночных колейках. На трупе заметна одна странная особенность: у Валентины Харитоновны нет больше головы, а только какая-то треснувшая, залитая тёмно-красным соком небольшая пробковая колба, оплетённая спутанными волосами, как волокнами старой ободранной древесной коры. Ангелина Давыдовна понимает, что раньше этот предмет и был головой Валентины Харитоновны, но не может понять, на какой из его сторон находилось лицо. Она машинально валится животом в снег и отползает под прикрытие саночек, выставив перед собой дуло винтовки. Она слышит тишину, такую пустую, что снежинки, как комары, звенят у неё в ушах. Глаза Ангелины Давыдовны чутко водят по заиндевелым кустам на опушке, отыскивая затаившуюся цель. Постепенно она замечает, что становится всё холоднее. Морозный воздух прислоняется к её лицу, покалывая острыми иголочками снега, вынутая из рукавицы на курок рука мёрзнет до пронзительной боли, и лицо тоже начинает ломить, словно в него втыкаются заиндевевшие железные гвозди. Когда Ангелина Давыдовна понимает, что нужно бежать, она уже не может подняться, на неё навалилась усталость, тепло утратившего чувствительность тела иссякло, она закрывает глаза, чтобы уберечь их от холода, и не видит выходящую из кустов Катю, а если бы и видела, то не смогла бы даже нажать окаменевшим пальцем курок. Катя приближается к лежащей ничком за саночками женщине и сбрасывает ногой шапку с её волос, пробует носком сапога голову. Ангелина Давыдовна ещё жива, хотя через горло в грудь ей лезет толстая, обросшая шипами гусеница. Катя стоит над ней и наблюдает, как Ангелина Давыдовна начинает дёргаться и хрипеть оттого, что кровь замерзает внутри её лёгких. Похрипев, она разжимает челюсти на посиневшем круглом лице, кожа на нём лопается, и выходящая из-под неё кровь сразу застывает на воздухе.

– Кукла из тряпки, – обиженно шепчет Катя, оборачиваясь в сторону леса, хотя там никого не видно. – У неё же краска вместо крови. Такие ни на что не годятся, ясно вам или нет?

В сумерках она навещает труп Гали, которая всё так же лежит в снегу с разбитой головой, сидит возле него и роет отрубленной рукой девушки снег. Потом она подбирает брошенный топор и убивает ударом в лицо себе на ужин привязанную к берёзе Юлю Невскую, потерявшую уже сознание от холода и голода, высасывает кровь из раны Юлиного лица, обгрызает ей губы, горло и мясо со щёк. Белым болотом, из которого торчат уродливые не по старости ёлки, уходит она вдаль, завеса рушащегося с непроглядных небес снега скрывает её, засыпая следы, и тёмные лужи крови белеют, и тени брошенных тел остаются покрываться инеевым мхом. Где-то там, в глубине колючей метели, ложится она в мягкие, убаюкивающие перины снегов, чтобы уснуть и долго спать, не дыша, и чтобы ей приснилось, что снежинки – это падающие звёзды, которые, приближаясь к земле, становятся, вопреки законам перспективы, лишь тусклее и меньше.

Ледяные цветы

Так Катя и лежит, совсем мёртвая, не размыкая глаз, пока не наступает настоящая зима. Уже лесные мыши зарылись в пушистый снег и живут под ним, пробивая себе крошечные луночки для дыхания, уже морозная, светлая, как белая лампа, луна появляется в небе, просвечивая сквозь сплетение ветвей, уже сидят по утрам на кустах пунцовые снегири, словно яблоки особой, светло-алой породы, солнечные лучи просвечивают тонкую корочку льда на веточках берёз, и однорукая Галя Волчок ходит белыми рощами, обгрызая со стволов мёрзлую кору и пережёвывая снег, чтобы не так болела прорубленная топором голова. Ночами на Галю нападает безысходная тоска, и она ложится в какой-нибудь сугроб, пытаясь замёрзнуть до окончательной смерти, но не имеющее источника, самородное чёрное тепло горит без устали в ней и не даёт даже спать, не то что умереть. Отчаявшись погибнуть, Галя тоскливо и плачуще воет, гладя единственной рукой поверхность снега, который не тает под её ладонью, и, слыша этот вой, неусыпный Макарыч в который раз перезаряжает в своей каморке двуствольное ружьё, потому что не надеется ни на какие органы безопасности, а только на свой меткий глаз. Органы безопасности являлись уже несколько раз и прочёсывали окрестные рощи серыми рядами зябнущих небритых солдат, но не нашли ничего, а потом позабыли снова приехать, наверное, полагая, будто смерть уже улетела из этих мест в слепое снежное небо.

Но Катя не ушла, она только уснула на время, и одной ясной зимней ночью Галя Волчок, медленно шедшая просекой, бросается вдруг в кусты и мечется там от ужаса, ссыпая с веток снег и скуля, засунув пальцы уцелевшей руки себе в рот. Далеко на болотах, километра за полтора от неё, Катя выбирается из сугроба и открывает свои смоляные глаза, две маленькие дыры в абсолютный мрак. Она идёт, никуда не сворачивая, находит ворону, сидящую на вершине ёлки, кашляет хрипло, дёргая Галиной рукой, и пожирает упавшую с дерева птицу вместе с перьями. Звёзды рассыпаны по небу, как фонари.

Этой ночью Катя приходит к воротам интерната и глухо ударяет в них сапогом. Из калитки выходит в лунное поле Макарыч, как призрак, в надвинутой на лоб мохнатой шапке и валенках, он направляет на Катю ружьё, но оно не может выстрелить, потому что пули примёрзли к стволу. Макарыч скалится и хрипло ревёт, мотая головой, зубы у него выламывает крюками мороза, такого страшного, какого он не помнит в Сибири, на белочешской войне.

Рёв его быстро ломается в сплошной хрип, веточный хруст, и старик валится в снег, как срубленное дерево. Переступив через него, Катя проходит сквозь будку, хрумкая осколками рассыпавшейся от мороза керосиновой лампы. Проникнув в первый барак, она убивает девочку Алёну Медвянскую, спящую возле двери, коротко вцепляясь ей своими пальцами в лицо, из которого сразу выступает быстро стынущая кровь. Катя прокусывает мёртвой плечо и высасывает много крови, потом она перегрызает на трупе шею и уносит голову за волосы в лес. Долго ходит она между спящих древесных стволов, шепча им что-то, чего не разобрать, и качая за волосы мёртвой головой, с которой капает кровь, иногда она останавливается и смотрит вверх, чтобы определить по звёздам свои координаты и отметку времени на кругу своего бессмертия.

Наконец она приходит к той яме, где её некогда закопали, к задубевшей мумии Тузика, полупогружённой в снежную впадину, она садится в снег, покачивается и с жуткими, лисьими стонами царапает лицо Алёны Медвянской. Из носа Кати капает чёрная кровь, расплёскиваясь о лоб Алёны и затекая ей в глаза. И тогда из деревьев выходит однорукая Галя, разорвавшая на себе одежду в поисках причины непрекращающейся

собственной жизни, задыхаясь, она хрипло взвизгивает и плачет от страха, всё ближе к ней нервный, звериный стон смерти, всё ближе источник терзающей её боли. Галя останавливается в нескольких шагах от Кати и, трясясь, опускается на колени.

– Котова, – сдавленно и хрипло говорит она. – Дай мне умереть.

Катя перестаёт стонать и смотрит в расцарапанное Галино лицо, по которому текут холодные окровавленные слёзы.

– Вытащи собаку, – говорит ей Катя.

Давясь плачем, Галя нащупывает целой рукой в снегу труп Тузика, вцепляется пальцами в рыжую шерсть, перемешанную со снегом, и рвёт примёрзшего пса из могилы наверх. Тузик не поддаётся, превратившись в единое целое с господствующим в лесу ледяным оцепенением.

– Не могу, – хрипит Галя и тщетно дёргает отрубленной рукой, чтобы вытереть слёзы. – Помоги.

– Вытащи собаку, – безжалостно повторяет Катя, засовывая пальцы в разинутый рот Алёны Медвянской. – Рви, пизда.

Галя сжимает зубы и рвёт Тузика к себе, схватив его за лапу и упираясь коленями в снег. Одеревеневшее чучело с хрустом выходит из снега, осыпая инеевую муку. Катя ложится на живот лицом к яме и начинает жевать снег, подгребая его руками ко рту. Галя со стоном валится набок, подтягивает ноги, сворачивается и, дёргаясь, зажимает голову между коленями.

Из провалившейся вниз земли вылезает Надежда Васильевна. Её лицо неплохо сохранилось, только губы и нос почернели, а ту сторону, которой Надежда Васильевна лежала на земле, поели санитары леса, щёку и ухо, так что там теперь тёмно-бурый пролежень, некогда мокнувший, а теперь замёрзший до морщин. Грудь Надежды Васильевны давно лопнула, расплывшись по одежде зловонным тёмным пятном, пальцы на руках огнили, а одна нога не сгибается, то ли кровь замёрзла в ней, то ли разложились мышечные волокна. Выбравшись на воздух, Надежда Васильевна зверино рычит и сразу бросается на Катю, но та сдавливает руками глаза Олёны Медвянской, отчего бывшая коммунистка дёргается и оседает в снег, заваливаясь набок, кровь вперемежку со сгнившими тканями выходит у неё изо рта, как чёрный понос, она всхрапывает от боли, боком пытаясь отползти прочь, рвота тянется мазутной кашей за её напряжённо

разинутой пастью. Дрыгаясь, как пытающийся раскрыться перочинный нож, Надежда Васильевна судорожно, булькающе блюёт и пускает задом газы.

Следом за ней из ямы выбирается Ольга Матвеевна, которой выстрелом в затылок вырвало нос, она ползёт на четвереньках, то и дело заваливаясь на землю и снова тяжело поднимаясь, едва добравшись до края ямы, она ложится, перевернувшись на спину, и хрипло дышит, глядя на заиндевелые деревья над собой. Потом она перестаёт дышать и окончательно умирает, оставаясь лежать на краю снежной воронки, женщина, которая хотела стать Богом, но превратилась в пустое околевшее тело. Больше не может выйти никто, только слежавшаяся вонь разложившихся тел поднимается еле различимым паром из трупной берлоги. Катя подползает к краю ямы и заглядывает внутрь, она видит ноги одной из девочек, сгнившие до костей, чью-то голову, присыпанную землёй, и ощущает, что лежащие внизу детские тела уже перестали быть даже трупами, они стали почвой, удобрением, едой будущей травы.

Новая начальница интерната Любовь Ивановна Благая просыпается среди ночи оттого, что чья-то маленькая, мёрзлая рука касается её лица. Любовь Ивановна очень не любит, когда касаются её лица, она даже мужу своему, Анатолию Герасимовичу, не позволяет трогать своё лицо, потому что оно означает для неё зеркало души. Открыв глаза, Любовь Ивановна видит стоящую возле своей кровати девочку, держащую человеческую руку с раскрытой ладонью, пальцы которой прижаты друг к другу, и свою вторую голову, непохожую на первую лицом. Любовь Ивановна думает, что наблюдает неприятный сон, тем более что от девочки пахнет потерявшейся в лугах дохлой скотиной. Любовь Ивановна силится проснуться, но девочка не уходит, она зло, и даже с каким-то отвращением, глядит на женщину своими чёрными глазами.

– Тётя, вставайте, – произносит Катя. – Надо гнать девчонок в болото, очаг культа возводить.

– Чего? – не понимает Любовь Ивановна, напрягая брови.

– Культ требует очага, – уверенно говорит Катя, взмахивая второй головой, как кадилом. – Не хлебом же единым.

Любовь Ивановна садится в кровати и протирает глаза. В комнате темно, но от лица девочки исходит странное белёсое свечение, потому все его черты отчётливо различимы.

– Быстрее, сука, – нетерпеливо настаивает Катя. – Религии рабочая сила нужна. Хозяин ждать не любит.

Любовь Ивановна не понимает, почему она никак не может проснуться. Кошмарных снов у неё не было уже без малого десять лет. Хрустит оконное стекло. Повернувшись на звук, Любовь Ивановна видит прижавшееся снаружи к окну незнакомое лицо Надежды Васильевны, расплывшееся в страшной мертвецкой улыбке. От одной этой улыбки Любви Ивановне неожиданно не хочется больше существовать, и она отворачивается от окна, вцепляясь руками в одеяло.

– Ну пошла, сволочь! – с сильной злостью вскрикивает Катя, топая сапогом, и тыкает в грудь женщине отрубленной человеческой рукой. Острая железная боль продирает Любовь Ивановну до самого позвонка, она вскашливает и ощущает во рту вкус крови. – Пошла!

Через два часа, всё ещё в длинной зимней ночи, ворота интерната с лязгом растворяются, и тёмная колонна узниц выходит в лес. Впереди колонны шествует Катя, указывая направление, сбоку волочит неразгибающуюся ногу Надежда Васильевна, вставившая себе для забавы в мёртвый рот подожжённую папиросу и опирающаяся на выломанный из дерева сук, сзади свирепой тенью идёт однорукая Галя, которая ничего не видит, зато чует и слышит, как хищный зверь. В интернате остаётся лежащий на заснеженном дворе труп одной девочки, из которой Галя и Надежда Васильевна сделали себе перемену блюд, макая оторванные от неё конечности в таз, наполненный кровью, в разбитых окнах пустого цеха подвешено за ноги мёртвое начальство интерната во главе с Любовью Ивановной, из которого уже порядком натекло в снег, всего шесть голых, посиневших туш с распоротыми до глоток животами, откуда свисают мотки выпущенных кишок, лопнувшие желудки и лёгкие.

Сутки спустя после гибели интерната, облачным зимним утром, когда солнце появляется из-за матовых снежных облаков, Спиридон Борисович выводит цепи солдат в маскировочных халатах на берега белых болот и щурится от нестерпимого серебряного сияния. Посередине белой равнины лежит в снегу ослепительный неприродный диск диаметром до десяти метров. Спиридон Борисович один отправляется исследовать неизвестное явление, и чудесное, невиданное зрелище предстаёт перед

ним. На прозрачной, пузырчато преломляющей солнечный свет глади раскрыты прозрачные цветы, сплетаются прозрачные листья, приклеены маленькие прозрачные бусины диких ягод, сидят молчащие птицы, будто отлитые из стекла. Всё это сделано, отшлифовано, вытаяно изо льда множеством маленьких живых рук, терявших от холода, голода и равнодушия материи своё тепло, и в тех местах, где замороженные пальцы утрачивали осязание, и им уже не хватало тепла, чтобы формировать ледяной контур, девочки согревали мёртвую воду собственным дыханием, только бы смерть, напившись их жизни, навсегда превратилась в чистую красоту. Спиридон Борисович всегда верил только тому, что видел собственными глазами, но теперь он перестаёт верить даже этому, в зеркальных листьях ему мерещится гибель всего известного человеку мироздания. Спиридон Борисович поворачивается и уходит, лицо его застыло, как каменный слепок, словно ледяные цветы исчезли, как только он перестал их видеть, и он идёт, сомкнув веки, чтобы не замечать озаряющее его сзади сияние отражённого небесного огня.

– Вперёд, – кричит он простуженным голосом, указывая рукавицей в глубь болот, на север, куда уходит след множества маленьких сапог. Спиридон Борисович бросает цепи красноармейцев в погоню, любой ценой надеясь спастись от пуль расстрельной команды, от глухой кирпичной стены, которая может стать последним пейзажем его жизни. То и дело на обочине пути попадаются трупы остановленных морозом тружениц, ничком лежащие в снегу, и к полудню Спиридон Борисович настигает устало идущую колонну детей, они идут сами по себе, замёрзшие и молчаливые, и Спиридону Борисовичу кажется, что девочки направились за предел жизни, куда ему дороги нет. Солдаты окружают колонну, и она останавливается. Спиридон Борисович смотрит в бледные, истощённые лица девочек, ещё хранящие в себе чистый свет нечеловеческого, волшебного труда, и коротко приказывает всех их расстрелять. Никто из детей не пытается бежать, никто не закрывает руками голову, никто не плачет, не просит пощады. Винтовочный залп раскалывает зимнюю тишину, маленькие тела падают в снег. Спиридон Борисович смотрит, как пули прошивают детей, сбивая их с ног, как из шеи одной упавшей девочки писает ослабевающими толчками тонкая струйка крови, другая девочка падает, закусив намертво губу, третьей пуля

вышибает мозги, и она с размаху шлёпается на спину, но они не кричат, они умирают молча, словно жизнь уже давно ушла из них, ещё там, среди ледяных цветов. Гремит второй залп. Ни одной девочки не остаётся стоять, несколько, в которых плохо попали, дёргаются на кровавом снегу, и Пётр Шаталов с водителем Володей добивают их пистолетными выстрелами в головы. Стоя в стороне, Спиридон Борисович уже думает о том, как ему быстрее всего расформировать и ликвидировать карательную команду, чтобы сшить человеческими смертями прошедшее время в мешок вечного небытия. Солдаты тем временем выкапывают яму и сваливают в неё трупы мучениц, сгребают кровавый снег. Через час болота становятся такими же белыми, как повсюду.

Каратели поспешно отступают, чтобы успеть к оставленным на просеке военным грузовикам до наступления темноты. Спиридон Борисович, Пётр Шаталов и водитель Володя идут впереди, потому что у них нет винтовок и вещмешков.

– А гадкая история, Спиридон Борисович, – замечает Шаталов, сбивая пепел с сигареты. – Уж не знаю, выберемся ли. Тех, кто баб интернатовских потрошил, предъявить бы начальству надо.

– Найдём, – мрачно отвечает Спиридон Борисович. – По окрестным деревням наловим, сволочь кулацкую.

– А девчонки?

– И девчонок те же суки покончили. А мы уже стылые трупики нашли.

– А эти? – Шаталов кивает головой назад, в сторону бредущих болотами извергов.

– А эти, – Спиридон Борисович на ходу бросает окурок в снег, – Не вечно же на свете будут.

– Большое вы дело задумали, Спиридон Борисович, – Шаталов затягивается и, поёживаясь, выпускает дым. – Великое дело.

– Великое дело, – повторяет Спиридон Борисович, глядя в снега. – Зря мы, Петя, тех женщин расстреляли. Тактическая ошибка была допущена нами. Они ведь многое знать могли, те женщины. Яичники из них надо было вытопить.

– А в самом деле, Спиридон Борисович, – хрипловато и скоро шепчет Пётр, поминутно озираясь. – Ведь кто-то это сделал, Спиридон Борисович, вы же видели, там, впереди, вы же видели, Спиридон Борисович, что же это, по-вашему?

– Не знаю, что, – быстро отвечает Спиридон Борисович. – Не знаю.

– А животы, там, в интернате, пораспарывали, вы видели, как свиньям, я думаю, это банда кулацкая, а там, впереди, померещилось, что ли? Я думаю...

– Стреляй, Шаталов! – вдруг истошно вскрикивает Спиридон Борисович, бросаясь в сторону. Пётр поворачивает голову и видит девочку, ту самую, которой мочился мёртвой в рот, она идёт со стороны леса. Шаталов выхватывает пистолет и, не целясь, стреляет в девочку, пули, похоже, попадают в цель, потому что тело ребёнка дёргается от ударов, но в следующий миг Шаталов чувствует резкую боль в груди и холод голубых слёз сжиженного воздуха на щеках, рядом с ним водителя раздирает на куски тяжёлым ударом космического ветра, и сам Шаталов падает на снег, пытаясь крикнуть, чтобы хоть как-то обозначить последнюю волю своей жизни, но звук уже не проходит через его забитое снегом горло, мозг лопается, глаза высыхают на морозе, газированная воздушная вода затекает в дыры провалившегося лица. Шаталов уже не слышит, как хрипят, корчась на снегу, солдаты, придавленные потоком ледяной стремнины, свистящий разверзшийся вакуум срывает им мясо с костей, забрызгивая кровью белую землю болот, которая снова стала теперь ничьей. Один из бойцов, в котором от природы сохранилось больше тепла, ещё находит в себе силы дважды выстрелить в небесную голубизну, прежде чем умереть.

Спиридон Борисович несётся вперёд, мимо застывшей на кочке Кати, пока не спотыкается и не падает, катится по неудобной, чужой земле. Он хочет встать, но ноги его одеревенели, схваченные железными клещами мороза.

– Пусти, сука, – надсадно хрипит Спиридон Борисович, упорно борясь за свою жизнь, и обдирает ногти о наст. – Пусти, сука.

Вывернув лицо, он видит, что Катя стоит над ним, со скучающим выражением лица наблюдая его муки.

– Ты... слышь... пусти... – слабо говорит Спиридон Борисович. – Прости... что девчонок... всех побил...

– Это неважно, – чистым детским голосом отвечает Катя. – Они уже умирать шли.

– Да... умирать... я видел... я много людей... убил...

– Это не страшно, – успокаивает его Катя. – В этом нет греха. Людей надо убивать. Это хорошо.

С другой стороны, хрустя по снегу, подходят Надежда Васильевна и Галя Волчок. Солнце снова выходит из облаков, заливая равнину болот сверкающим светом.

– Ты иди, – робко хрипит Кате Надежда Васильевна. – Ты маленькая ещё.

Катя улыбается одной тенью улыбки и уходит, оставляя Спиридона Борисовича дёргаться на снегу от предчувствия своей ужасной судьбы. Надежда Васильевна грузно наваливается на лежащего навзничь человека и рвёт когтями его одежду.

– Милый, хороший, – хрипло шепчет она, целуя Спиридона Борисовича кривыми, подгнившими губами. Однорукая Галя глухо стонет, глядя на Спиридона Борисовича смёрзшимися кровью битыми трещинами глаз. Она опускается на колени в снег и единственной рукой крепко хватает его сквозь штаны за тайный уд.

Ушедшая Катя садится в снег у круга прозрачных цветов и вдыхает их морозный, чистый запах, идущий из раскрытой бездны, по которой летит, не останавливаясь, бескрылое солнце. Она дышит и спит, до самых сумерек, а где-то среди зимних болот слышатся тонкие, хохочущие крики Спиридона Борисовича, будто по погребённым в лесной глуши деревням летает призрак большого мёртвого петуха.

Проходит шесть дней и шесть ночей. Душа человеческая боится появляться в здешних местах, заснеженный лес молча мертвеет под движущимся небом, близлежащий городок, окружённый постами милиции, затаился в сдержанной тишине, люди разговаривают тише, говорят, что по пустынным болотам ходят толпы мертвецов с растрескавшимися мордами, вооружённые винтовками и падающим с высоты ужасом своей нечеловеческой ненависти к живым, говорят, что вымерло несколько окрестных деревень, вместе со скотиной и домашней птицей, будто помёрзли все они в одну колодезную ночь, говорят, что почтальон Носков видел в берёзовой роще мёртвых девочек, водящих большой хоровод, и кричали они, мол, как вороны, и прыгали, мелькали среди известковых стволов.

Говорят ещё, что в заброшенном лесном интернате поселилось неведомо что, перешедшее границы смерти, что сотрудник НКВД Спиридон Борисович Нилин отыскал в болотах камень вечного ужаса и теперь совершает там босиком многометровые

прыжки, кожа у него на теле сливового цвета, как у индийского уткорылого беса Кряшны, а одна продавщица молочного магазина, видевшая его из окна проезжавшего полем грузовика, рассказывает тайно подругам, будто член у Спиридона Борисовича достигает коленей в расслабленном состоянии переднего хвоста и помогает ему в прыжках для поддержания баланса, впрочем, никто этой женщине не верит, потому что она вдовая и за мужской орган могла принять даже обычный сук, который проклятый вампир носит в чреве для пущего бесстыдства. Рассказывают также, что на окраине города является криворотая красивая женщина средних лет, не состоящая на службе ни в одной организации, которая заманивает мужчин своей натуральной агитацией и высасывает им мозги через нос, некий слесарь Иван встретил эту женщину, но ушёл живым и говорил, выпимши, будто облапил сатанинскую курву, по незнанию её истиной природы, за известные места, и показывал руку, на которой остались следы её исподних зубов. Ещё рассказывают, что на железнодорожную станцию приходила однорукая девушка с избитым до крови лицом, намеревалась сесть без билета на поезд, следовавший в Ленинград, её хотели забрать в милицию, но она убила железной палкой двух рабочих, а одного милиционера сожгла огнём, который вышел у неё из руки, после чего ушла полем в лес, а следы от неё остались перевёрнутые, как от лешего.

Постовые милиционеры уже убили трёх подозрительных гражданок и одну девочку, гулявших ночью без дела тёмными улицами города, где не осмеливались зажигать фонари, хотя газеты писали, что с суевериями давно покончено как с фактом жизни, дворник Калистрат заколол рабочим своим ножом старуху, строившую заполночь снежную бабу во дворе, у старухи в коммунальной комнате нашли чёрную кошку, набитую гвоздями, и поганые книги против всего хорошего на свете, бабки, продающие пряники, шептались по углам, что, мол, вот ликвидировали церковь, оно и началось, что товарищ Сталин уже думает церковь обратно восстановить, а то с чертями не сладить, распоясались вконец, собаки по окраинам воют ночи напролёт, антихрист слетел на землю, и криворотая с однорукой – его дочки, а Калинин с Ворошиловым записались в монахи, Библию изучать, сорок четыре святых старца, переживших революцию в соловецких снегах, призваны для науки в Москву, не сегодня-завтра

церкви начнут строить заново, Ленина сделают святым на место Владимира, что Русь крестил, потому что Ленин ничего плохого религии не хотел, напакостил Троцкий, который теперь прячется в кавказских горах, где есть ход до самого ада, а как поймают его, так начнётся козья болезнь, люди речь станут терять в пользу бессмысленного блеяния, лечить их будут святой водой из далёкого города Икутска посреди тайги, и прочее, и прочее, всего и пересказать нельзя.

Советская власть развешивает в городе плакаты, призывающие покончить, наконец, с вековой темнотой и вступать в кружки ликвидации научно-технической и марксистско-ленинской безграмотности, проводятся два митинга, в клубе Советов и на площади Сталина, председатель горкома партии товарищ Рябенко выступает с инициативой отправить к интернату выборную делегацию из комсомольцев и коммунистов города, чтобы разобрать его на доски и бетонные блоки, дабы развеять миф о возможности существования души без тела и жизни по ту сторону смерти. Речи товарища Рябенко встречают овации и радостный отклик, но никаких делегаций никто посылать не хочет, и сам товарищ Рябенко тоже, потому что имеет директиву не принимать суеверия всерьез, а бороться с ними одной силой партийного слова, которое смоет лишнее и само отомрёт, не оставив памяти о себе, а значит и о том, что смыто. Вместо экспедиции в городе назначен внеочередной праздник, шествие со знамёнами, комсомольская самодеятельность и чтения в Доме Советов революционного поэта Маяковского, который, говорят, не верил ни в Бога, ни в чертей, а только в многотрубную мощь индустрии.

В то время как по улицам города, рябящим метелью, движется смеющаяся советская молодёжь и распевает песни гражданской войны, полные щемящего до слёз душевного пламени, в десяти километрах севернее, на морозной окраине бывшей деревни Лужки, останавливается и гасит свои фары военный грузовик, кузов которого покрыт маскировочной белой материей государственной тайны. Из грузовика на дорогу сгружаются четверо. Грузовик сдаёт назад, разворачивается и уходит в ночную темноту, а люди остаются на фоне метели, погасших навеки изб и пугающей черноты пространства, которого коснулась разрушающая рука Разрушителя. В темноте зимней ночи нельзя сейчас различить их суровых лиц, но знайте, они страшны, эти лица,

источенные жгучими ветрами смерти, застывшие бесчувственными масками ожесточения, с глазами, сузившимися от скорби о потерянных товарищах, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, выполняя свой вечный долг. За спинами их вещмешки и винтовки, заряженные чистым, как горные ручьи, серебром. Каждый из них трижды Герой Советского Союза, но никто не знает о них, ни один человек во всей нашей огромной стране.

Они молча идут пустой деревенской улицей, разбивая прикладами чёрные окна домов, в которых свистит метель, а может быть, это птицы смерти поют в глубине безжизненных изб, где лежат, закутавшись в одежду и одеяла, даже не мёртвые, а призраки мёртвых, выжженные морозом мумии советских людей. Раньше здесь был колхоз имени Ленина, теперь тут некрополь, белый кладбищенский лабиринт, свежевыкрашенный снегом, и их собственные следы, следы ещё живых, бледнеют на глазах, покрываемые тюлевым саваном вьюги.

Названия этим людям нет, ни в одном секретном сейфе не пылятся свидетельства о них, имена их забыты, словно не рождались они вовсе на свет, их не существует, и, тем не менее, они есть, я помню их лица, как воочию перед собой, я помню их голоса, словно сидим мы сейчас за одним столом, мои товарищи, в каких пещерах земли спите вы теперь, родные мои.

Наш отряд был создан в двадцать втором году по прямой директиве правительства, и ни один орган власти не знает больше о нём, потому что, согласно самой идее нашего государства, согласно теории великого Ленина и практике великого Сталина, нет и не может быть повода для нашей жизни, а всё равно она есть, и есть она, непрерывная битва, потому что боремся мы со злом, тем, которого не может постичь своей наукой человечество, идущее в свет, так огромно оно, как огромна смерть по сравнению с жизнью отдельной личности. И, может быть, путь к будущему – это светящаяся стеклянная дорога, проложенная среди мёртвого пространства страшного сна, люди не должны знать об этом теперь, им рано ещё это знать, канатоходец не должен смотреть себе под ноги, иначе он упадёт, наступит время, может быть, через сотни лет, и о нас сложат легенды, девушки споют о нас песни, разве это существенно теперь для нас, ведь мы избраны быть впереди, и это наше особое, никому не-

доступное больше счастье, только Ленин и Сталин знают о нас, они нас сотворили, и мы есть их вооружённая рука.

Яков, о тебе первом скажу я, ты ведь был и остаёшься нашим командиром, хотя чин военный тебе и не положен, ты из первых, ещё из тех, кто воевал в гражданку, ты больше всех нас коммунист, потому что стал им тогда, когда за это сдирали кожу и вырезали звёзды на спине, ты родом откуда-то из-под Вологды, большим ростом вышел, усов не брил, ты деревья ломать можешь, а тебя никому не сломить, Яков, на веки вечные. Кто шёл рядом с тобой, тот потерял свой страх и не может вспомнить его лица, будущие люди одну всего статую воздвигнут в память о наших тяжёлых временах, временах борьбы, железную статую, огромную, как гора, и это непременно будешь ты, балтийский матрос, не зная тебя, они всё равно выплавят из серого металла твоё лицо, это суровое лицо убийцы бессмертных богов.

Василий, какой сибирской национальности принадлежишь ты, чукча ты или тунгус, арканил ли твой отец оленей в пегой тундре, окружённый облаком болотных комаров, или бил куницу в лежащих по пояс таёжных снегах, сам не знаешь, и матери своей не помнишь, только когда туго, когда смерть уж совсем близка, молишься ты, Василий, на родном языке, нам всем чужом, зовёшь духов своих древних, креста на тебе, паскуднике, нет, а дважды ты никогда не стрелял, бьёшь без промаха, мужика, бабу ли, старика или ребёнка, правда всегда за тобой. Ты единственный из нас, кто смеётся, Василий, луна и звёзды – вот истинный дом твой, когда-нибудь ты придёшь туда, и тебя встретят те, кого ты любишь.

Ты теперь, Варвара, ну что мне ещё сказать о тебе. Волосы твои смоляные вьются, как козья шерсть, любишь ты лицо под дождь подставлять, никто из нас не знал тебя как женщину, инженер один, говорят, знал, да прирезала ты его, потому как жизнь тебе человеческая в тягость, воля тебе нужна, как зверю дикому, взглядом воду портишь, горька становится, глянешь на тебя в полумраке костра – страшно станет, матерь твою, Варвара, огнём сожгли, так Яков говорит, может, и правда, сожгли? Кто из нас не любит тебя, душа ты наша, женщина, злое, тёмное от грязи и солнца широкое лицо твоё, привыкшее видеть смерть, кто из нас не целовал тебя в минуты победы, над трупами нелюдей, истерзанную в пот и кровь, и долгими ночными переходами кто не оглядывался на тебя, идущую всегда последней, чтобы вспомнить

твою красоту и зов будущего, незаживающей раной хранящийся в груди твоей, сколько бы ты ни стискивала зубы, хрипя от ненависти, будущее всё равно таится в тебе, Варвара, готовое расцвести.

Той вьюжной ночью, в густом снежном дыму, мы снова оказываемся одни, одни против бушующей стихии зла, может статься, многие годы таившейся в забытьи, чтобы найти себе выход здесь, помощи нам не будет, если мы умрём, нас сразу вычеркнут, резинкой сотрут с листа, о нас ведь даже думать запрещено, не то что нас спасать, никто нас никогда не спасал, и трупы погибших мы хоронили в полях, безо всяких обозначений, только Яков знает, где все они лежат, только он единственный знает. Той вьюжной ночью мы стискиваем друг другу руки, как всегда, потому что неизвестно, кто из нас останется жив, мы смотрим друг другу в глаза, потому что кроме нас самих некому почувствовать нашу боль, наше горе, нашу великую скорбь, потому что мы сразу поняли: это будет битва не на жизнь, а на смерть.

В первой избе, порог которой мы переступаем, Яков переворачивает ногой лежащий на полу труп молодой женщины, хрупкие волосы осыпаются с её головы, как хвоя, лицо черным-черно, замёрзла вытекшая из глаз кровь, Яков склонился к ней, надавил на щёку пальцем, она хрустнула и провалилась, как корочка угля на недогоревшем полене, мы понимаем, что это значит, это значит ужас, который возвращается только раз во много веков.

– Снегурочка, – говорит Яков. Мог бы и не говорить, все и так поняли. Снегурочка. Спаси нас, Господи.

Как неживые тени, крадёмся мы утратившими форму улочками. Её здесь давно нет, но она могла устроить нам смертельную ловушку, очень мало на свете есть существ безжалостнее и опаснее снегурочки. Появлению её всегда предшествует огромное количество сотворённого зла, она есть мера, посылаемая потусторонними силами, чтобы человек не забылся и на собственном затылке почувствовал ледяное дыхание вечной ночи. Кто позвал её, того наверняка уже нет на свете, но она не остановится теперь, она будет кружить по земле, сея и сея смерть, пока её саму не убьёшь. Все эти вставшие трупы, упыри да навки – лишь творения её чёрной души, да, есть у неё душа, непроницаемая, как колодец в глубину земли.

На окраине деревни, на покрытом снегом холме, мы находим её следы, тоненькую цепочку луночек в снегу, словно тут прошла

лиса, и место, где она стояла, глядя на дома, тогда ещё живые, в окнах, наверное, горел свет, дети играли в снежки, но она взяла и убила их, мёртвой своей рукой, превратила в выгоревшие куклы, не умеющие дышать. На вершине того холма Василий достаёт деревянную стрелу и втыкает её себе в щеку, кровь на острие тянет на север, и мы быстро идём туда, проваливаясь по колени в мягкий молодой снег, как голодные волки, идём убить её или умереть.

На рассвете, посреди озимых полей, мы снова ловим её следы и вскоре находим вытянутую ямку, где она спала. По ямке легко определить, что это девочка среднего школьного возраста, у такой хоть шаги короче. Мы идём дальше, не сбрасывая скорости, потому что должны догнать её раньше, чем она заметит погоню. К одиннадцати часам утра мы находим свежий след, ведущий прямо на север, может быть, она идёт к полюсу, домой, сама хочет исчезнуть, кануть в родное небытие? Около полудня след опять начинает разметать, будто мы повернули назад, или время повернуло назад, но кровь на стреле тянет на север, усталые, мы переходим на рысь, сменяя передового, вот-вот мы должны её нагнать, Василий пристально всматривается в ровный седой горизонт, не появится ли там движущаяся точка, он непрерывно должен следить за стрелой, потому что снегурочка может залечь в снег, пропустить нас вперёд и тогда начать убивать. Начинает идти снег, всё гуще и гуще, поднимается ветер, лепящий хлопья в лицо, забивает рот и ноздри, мы теряем скорость, в половину третьего стрела сворачивает на северо-запад, она заметила нас! В туманных чащах метели снегурочка живёт в своей стихии, а мы слепы, в нескольких шагах уже невозможно стрелять, мы падаем в снег и ползём, и каждый молится по-своему, Господи, кто бы ты ни был, Дух или Зверь, защити нас.

Мы уходим под снег и ползём в хрустящей немоте, час или больше, мы ползём на северо-запад, мы хотим зайти ей в тыл, может быть, она потеряет нас под глубокими снегами своей ненависти. Когда мы выбираемся, на поверхности всё ещё валит снег, но не такой густой, видно довольно далеко, но стрела всё тянет на северо-запад, значит, нам не удалось её обогнать, мы падаем, мы лежим почти без чувств, грызём сухари, принимаем по глотку спирта, снег падает прямо в глаза, пока Яков не поднимает нас в новый бросок. Матерясь, мы снова пускаемся полем, смеркается, метель опять становится сильнее, ветер сбивает с ног,

но мы рвёмся сквозь него, как через белые колючие заросли, закрыв рукавицами лицо, и в ледяном аду, в хоре тоскливо воющих голосов гремит выстрел, это Варвара, ведь она же слева, спотыкаясь, мы бежим вперёд и кружим по непроглядным снегам, да, она была здесь, и мы находим капли её крови, тёмной, как вишнёвый сок. Однако снегурочка только ранена, хотя она и не сможет теперь, конечно, так быстро уходить, но следы её уже исчезли, может быть, Варвара попала, как следует, и серебро скоро сожжёт девочку до окончательной вечной смерти, пока же стрела показывает в прежнем направлении, и мы цепью идём с винтовками наперевес, метель стихает, мы молчим, слышен хруст наших шагов, мы почти не дышим, становится совсем темно, потом в просвете туч появляется луна, какая страшная красота вокруг, по снегу бегут размытые серебряные огни, как сгущение прозрачных вод, иногда они поднимаются на возвышенностях лёгкими холодными кострами цвета дневных снежных облаков и снова гаснут, это, конечно, она, это снегурочкин огонь, мы любуемся его красотой, как охотник любуется красотой выходящего из леса тигра, как ты всё-таки прекрасна, но мы всё равно убьём тебя.

Это сияние красоты – лишь улыбка на губах огромной космической смерти, играющей в чёрном небе ночи мёрзлой луной, как белым шаром, она начинает морозить нас, она хочет, чтобы мы почернели и треснули, как деревянные куклы, чтобы кровь брызнула из нас на чистый снег, она не понимает, что нам не нужно дышать, что мы уже практически мертвы, она же не знает, дурочка, что в секретной лаборатории имени Карла и Фридриха, только не тех, которых вы не читали, несколько лет назад разработали противоморозную вакцину, благодаря которой советская молодёжь с песнями строила в тайге города, прокладывала железные дороги в вечной мерзлоте, благодаря которой отважные папанинцы выжили на недосягаемых льдинах, там, куда ни один белый медведь не мог дойти, благодаря которой позже, в начале сороковых, выстояли и победили наши бойцы фашистского гада в мёрзлых окопах под Москвой и Сталинградом, выстояли и победили, прогнали этих околевших козлов до середины Европы, а зимы-то были страшные, рукой не пошевелить, что же вы думаете, об этом Партия не подумала? А она, глупая снегурочка, морозит и морозит, пока снег не становится под ногами сперва твёрдым, как мрамор, а потом хрупким, как битое стекло. Ветер падает на

нас с небес, ветер и смертный дождь, холодные капли сгустившегося воздуха, но ей не справиться с нами так, не сковать морозом одиночества наши пылающие сердца, потому что нет для нас ничего теперь на свете, кроме жажды увидеть лужу её крови, и её саму в этой луже, распавшееся детское лицо, прилипшие к снегу волосы, о какой слабости может идти речь, когда мы напали на след, никто ещё не спасся от нас, никто, никогда.

Василий видит лес впереди, и стрела отклоняется от прежнего направления – она близко, она там, за деревьями. Мы снова ложимся в снег и ползём вперёд, Василий говорит, что она остаётся на месте, не движется, затаилась или уже умерла. Мы охватываем её полукольцом, деревья всё ближе, никуда ей теперь не деться, она теперь наша, живая или мёртвая. Мы встаём на окраине зимней рощи, нацелившись винтовками в стволы, Яков выходит вперёд, он всегда в таких случаях идёт первым, потому что знает больше способов убить, чем все мы вместе взятые, он идёт, безжалостно проламывая сапогами наст, мороз уже совсем ослаб, у снегурочки нет больше сил, мы озираемся назад, мало ли что, хотя стрела показывает: больше никого тут нет, на километры в округе, никто уже не может ей помочь, кто бы ни поднял её из могилы, он уже оставил её, слышишь ты меня, ты снова проиграл, проклятая сволочь.

Яков делает движение головой, он увидел её. Вот она, сидит, прислонившись спиной к стволу, в расстёгнутом ватнике, руки бессильно раскинуты по сторонам, ноги поджаты. Она смотрит на нас, она ещё живёт, если это называется жизнью, возле неё на снегу разбрызгана кровь, куда же ты попала, Варвара, наверное, в ногу, Яков подходит к ней, всё ближе, ближе, он убьёт её ножом, она беззащитна теперь, сейчас он возьмёт её за волосы и ударит ножом в горло, раз, другой, она не будет сопротивляться, Василий берёт её лицо на прицел, Варвара разворачивается в сторону и назад, я тоже целюсь девочке в лицо, хотя Василий с такого расстояния не может промахнуться, ближе, ещё ближе, и тут я вскрикиваю, я узнал её, это не она, это же не она, это Алёна Медвянская, и сразу, как только я вскрикнул, снегурочка прыгает на Якова, сверху, ногами, она прыгает ему на шею, бьёт его коленями и рвёт рукой по лицу. Всё происходит так быстро, что никто не успевает среагировать, я стреляю, целясь выше, чтобы не попасть в Якова, Василий отпрыгивает в сторону, чтобы найти лучший угол

обстрела, Яков валится в снег, всем своим грузным, могучим телом, валится у ног Алёны Медвянской, с винтовкой и ножом, кувырком летит снегурочка с него за дерево, в сугроб, Василий стреляет, не целясь, я бросаюсь вперёд, та, вторая, Алёна, поднимается мне наперерез от ствола, и я наотмашь бью её прикладом в зубы, несчастную Алёнушку, я ломаю ей зубы, она падает, я стреляю ей в грудь, раз, перевожу затвор, и ещё раз. Пули пропарывают её, для неё это смерть, огромная, вечная, она, маленькая, и жила-то совсем немного, я поднимаю голову, сбоку гремит выстрел, это Варвара, а я не вижу, куда теперь стрелять, кругом чёрные стволы деревьев, Василий быстро уходит, по-утиному переваливаясь, мелькая за стволами, на северо-запад, куда ушла снегурочка.

– Стой, Варвара! – ору я что есть силы. – Назад!

Я не вижу даже, где она, я переворачиваю железное тело упавшего навзничь Якова, он хрипит, лицо его разорвано наискось, из вздувшейся полосы течёт темнеющая кровь. Пока я отсасываю и выхаркиваю её в снег, приходит Варвара. Она плачет, не в голос, как сельские бабы, а без воя, лишь всхлипывая, и, плача, она опускается возле Якова на снег и тоже начинает отсасывать кровь, командир вздрагивает и хрипит, роя руками снег, ледяными своими когтями снегурочка разорвала ему глаз, а самое главное – яд, Яков отравлен, он теперь умрёт.

– Мы должны были помнить, сука, – всхлипывает Варвара, – что она может сдвоить. Проклятая сука, она убьёт нас, всех, убьёт нас, сука.

Мы разводим возле Якова костёр и растираем ему лицо снегом. Яков дышит хрипло и неровно, голоса моего не слышит. Варвара собирает снег с кровью снегурочки и бросает его в костёр, как она, наверное, маленькая, стискивает челюсти вдалеке, как ей больно, крошке, раненую ножку рвёт адский огонь. Подожди, зайчик, поволокут ещё тебя черти по скользкой от крови земле, быстро-быстро, за ноги, за руки, за волосы, разденут и голую окунут в кипяток, окунут и вынут, окунут и вынут, кожу будут срывать, как туалетную бумагу, ты не верь, зайчик, что чертей не бывает, ты ещё покричишь, когда они тебя в крови твоей мучить начнут, ты знаешь, что они с тобой делать начнут, знаешь, и ты боишься этого, я же знаю, что очень боишься.

К ночи Яков приходит в сознание. Он хочет говорить, но горло и язык не слушаются его, он только тужится и хрипит,

тяжело закрывает глаза, лицо его кривится от муки, пульс совсем слабый, наконец, он снова теряет сознание и лежит пластом, потом вдруг, в третьем часу ночи, у полупогасшего костра вскидывается и ревёт, вместе с рёвом вырываются слова, он рвёт у себя на груди одежду, словно она мешает ему говорить.

– Вперёд... – ревёт Яков, осатанело таращась на догорающий костёр. – Догнать, падло... Приказываю... Василий... Ты что, Василий... Вперёд, братцы... Там, впереди... Нельзя допустить... Ты, слушай, твою мать... Илья, родной, – хватает он меня своей железной рукой за ворот, притягивает к себе, горячее дыхание опаляет мне лицо. – Она же, знаешь... Куда идёт... Там, твою мать... Нельзя допустить... Сдвоила, твою мать... Как худо... Больно! – вдруг дико рычит он, оскаливая зубы. – Больно, Илья!.. Убей меня! Это приказ... Ты понял приказ, мать твою!.. Под трибунал пошлю! Если не... Под трибунал... Варя... Добей, родная... Нельзя вам ждать... Там... Объект номер один...

– Объект номер один! – странным, чужим голосом повторяет Варвара. – Здесь объект номер один! Господи!

– Быстрее!.. – хрипит Яков, – Илья, пристрели, именем революции, не бросай, Илья... Там, на северо-запад... Объект номер один... Я сразу понял... Не имел права... Думал, справимся... Больно, Илья! Варька, стреляй!.. Стреляй, родная, добей!.. – он отталкивает меня, так сильно, что я падаю в снег. Варвара возится с пистолетом. Яков замечает его в руках Варвары и перестаёт хрипеть, только набирает пригоршню снега и суёт себе в рот. Глаза его смыкаются.

– Птицы поют... Слышишь, брат?..

Варвара поднимает пистолет и стреляет ему в лицо. Яков валится набок, выплёскивая из пробитой головы немного крови, я встаю и забрасываю снегом костёр. Вместе мы оттаскиваем тело Якова в сугроб. Варвара всё время пытается вытереть слёзы, закусив посиневшую без крови губу. Она не может по-настоящему заплакать.

Мы идём всю оставшуюся ночь, даже не думая об осторожности. Утром мы находим Василия, там, где закончился его путь, лежащего в провалившемся насте, как в саркофаге, весь снег вокруг него запятнан остывшей кровью, горло разорвано, и ты, Василий, и ты её не взял, любого зверя мог ты взять, один на один, вцепившись мёртвой хваткой в горло, днями и ночами не сходя с кровавого следа, никто не мог уйти от тебя, и она не ушла, она

повернула и убила тебя, тебя, врождённого охотника, различавшего снег на запах, возраст дерева на слух, никогда не узнаем мы теперь, как ты умер, как она обманула тебя, мы закапываем тебя в снег и клянёмся, что принесём в это место её почки, ты всегда ел почки сырыми, Василий, жди нас тут, мы скоро вернёмся, жди нас, друг.

Час за часом мы догоняем снегурочку, она движется всё медленнее, её сжигает адский огонь, новый день выдаётся пасмурным, и это её последний день. Я уже давно не вижу её, не знаю, о чём она думает, что видит перед собой, настолько глубоко ушла она во мрак своей нежити, куда нет доступа даже мне, несчастная Катя, девочка с длинной мягкой косой, неужели это ты?

Около полудня лес редеет, и мы выходим на берег замёрзшей реки.

– Вон она! – вскрикивает Варвара, показывая рукой на другой берег. Я замечаю маленькую фигурку, она мучительно хромает пологим белым склоном берега, проваливаясь в глубокий снег. На мгновение мне даже становится её жалко, всё-таки она тоже живое существо, которое уже обречено умереть, да ещё и маленькое, раненое, несчастное.

– Отсюда не попасть, – говорит Варвара, бегом спускаясь ко льду.

Я бросаюсь за ней. Лёд хрустит и проламывается под нашими сапогами. Скользя и отчаянно перебирая ногами, я добираюсь до места, больше присыпанного снегом, где потолще, и валюсь грудью на винтовку, чтобы уменьшить давление на лёд. Варвара с руганью выбирается из провалившейся под её коленом впадины и ползёт дальше, с треском поверхность льда уходит под ней в тёмную глубину воды, она снова выныривает, я хватаю ремень её винтовки, тяну на себя. И тут я чувствую, как мороз въедается в кожу, и понимаю, что это ловушка, я тяну изо всех сил, но мне уже не вырвать ноги Варвары из вцепившегося в них льда, лёд ломается, хрустит, но крепче сжимает хватку, Варвара дико визжит от боли, колотит по нему руками, бросив оружие, лицо её всё в поту, рот приоткрыт, почему я должен видеть, как она умирает, я не хочу, но я должен тянуть до последнего, пока есть хоть крошечный шанс вытащить её, она взвизгивает, сдавленно, от ломающей её тело тисочной пытки, это лёд встаёт снизу, из воды, Господи, неужели она смогла остановить целую реку? Лёд встаёт,

ломаясь и пронзительно скрипя, лёд плачет и воет, поднимаясь со дна ввысь, белые горы вздымаются под нами, нас несёт ввысь, и Варвара рвётся из моих рук, вжимая голову в плечи, она прокусывает свои губы, которые не могла прокусить тогда, у догоравшего костра, кровь хлынула у неё изо рта, это конец, её раздавило, я видел, как её раздавило, я же смотрел ей прямо в лицо. Всё, мне не нужны больше твои безжизненные ледяные руки, женщина, я встаю, я не желаю больше ползти, как червь, я встаю и смотрю на снегурочку, она остановилась на вершине склона, она же не может морозить на ходу. Винтовка лежит у моих ног, со звериным рычанием я рву на себя ремень оружия и бросаюсь вперёд, бешено хрипя, карабкаюсь обледеневшим склоном вверх, и там, наверху, передо мной открывается долина, поросшая молодой сосной, и я вижу объект номер один: что-то наподобие огромной чёрной косой эстакады, уходящей в землю, её окружает бетонная стена с колючей проволокой наверху, башни с пулемётами, часовые, идиоты, хочется заорать мне, что ей ваши пулемёты, что ей ваша проволока, ей же не надо внутрь, так-то вы охраняете объект номер один, бога душу вашего мать!

Я задыхаюсь, у меня так мало осталось сил, я несусь по склону, где же ты, моя девочка, мягкая длинная коса, пионерка моя с робкой детской улыбкой на губах, я знаю, ты села где-то в снег, сожмурившись от боли, сжав кулачки, ты приоткрыла рот, нет, ты не сделаешь этого, где же ты, дай мне найти тебя, ах проклятые сосны, в которых потерялся твой след, дай же мне найти тебя, я прострелю тебе грудь, нет, я прострелю тебе лицо, ты вздрогнешь, как сладко ты вздрогнешь, в последний раз откроются твои глаза, высохнут твои слёзы, я прострелю тебя навылет, я всуну дуло в твой рот, я переведу затвор, я хочу, чтобы голову тебе выбило, ласточка моя, чтобы проломило, стукнуло в древесину, чтобы чистый, пронзительный свист серебра проколол тебя, чтобы ты вздрогнула и затихла, это не стыдно, вздрогнуть, потому что вздрогнешь ведь уже не ты, труп твой вздрогнет и начнёт дёргаться, мёртвое тело, да что я тебе говорю, ты и сама всё понимаешь.

Я нахожу тебя сидящей под деревом, на снегу, ты сидишь, держишься за колено, тебе больно, слёзы текут по щекам, я не знал, что ты до сих пор можешь плакать, ты видишь меня, я пришёл тебя прикончить, ты еле слышно хрипишь, я знаю, тебе больно, не плачь, сейчас всё кончится, смотри, вот винтовка, возьми её в

рот, вот так, возьми её в рот, я слышу, как зубки твои стучат по железу, думаешь – не выстрелит? Пошире открой глаза, они не так уж и темны, они светлее, чем казалось, перестань дрожать, бах! Вот ты и вздрогнула, руки разжались, струйка крови изо рта, о, как быстро светлеют твои глаза, как небо после уходящей грозы, вот и кончился твой путь, ласточка, всё уже позади.

С оглушительным, скрежещущим грохотом рушится эстакада за моей спиной. Маленькая мёртвая девочка с передавленной шеей и простреленным коленом, пионерка Котова Катерина превратила железо в хрупкое стекло, понизив температуру до космического нуля. Под собственной гигантской тяжестью рушится оно, земля проваливается вниз, отверзая под собой дикую бездну. Адский пламень восходит к небу, за грехи наши, адский пламень поджигает остывшее солнце, летним зноем пылает оно над цветущими белыми садами нашей юности, на трибуну поднимается товарищ Сталин, в белом кителе, такой, каким ты видела его на дне облачных рек, раскрываются двери, дети бегут подарить ему цветы, пионерка в белой рубашке и синей юбочке дарит ему цветы, дарит ему белые цветы, светлы и ясны её глаза, твои глаза, он узнаёт в замершей от волнения девочке тебя, глядевшую на него с облаков, он улыбается тебе, склоняется и целует тебя в губы, о, как нежны они, твои любящие детские губы, как сладки, словно сахарной пудрой посыпали их цветущие белые сады, сонные сады, и, поцеловав тебя, он выпрямляется, улыбнувшись, машет рукой, глаза его стекленеют, и падает он на пол, падает он, как памятник, кровь из вещего рта, бьёт ногой, Сталин мёртв, Сталин мёртв, самолёты в небе теряют высоту, пикируя в землю, разбивая крыши домов, праздничные толпы разбегаются с площадей, пароходы тонут в морях, со скрежетом сходят с рельс поезда, и из пыльных, солнечных далей, из неведомых, коричневых лесов движутся танки, тысячи танков, тысячи мотоциклов с колясками, где сидят чужие солдаты в широких касках, играют на губных гармошках, и над ними гудят тупорылые самолёты с чёрными крестами на крыльях, рвутся бомбы, сдирая с земли траву, выламывая деревья, разбивая на куски дома, а Сталин мёртв, Сталин мёртв, и никто нам уже не поможет.

СОДЕРЖАНИЕ

Книги издательства «КОЛОННА» можно купить:

в московских магазинах:

«Проект ОГИ», Потаповский пер., дом 8/12, стр. 2
«Пироги на Дмитровке» ул. Б.Дмитровка, дом 12, стр.1
«Ад Маргинем», 1-й Новокузнецкий пер., 5/7
«Фаланстер» Б.Козихинский пер.,д.10
«Книжная лавка при Литинституте им. А.М.Горького», Тверской бульвар, дом 25
«У Кентавра», ул. Чаянова, дом 15
«Молодая гвардия», Москва, ул. Б.Полянка, дом 28
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, дом 8
«БУКБЕРИ» Сеть книжных супермаркетов

в Санкт-Петербурге, в магазинах торговой сети «БУКВОЕД» по адресу:

Улица Пестеля, 23
Невский проспект, 13
Кирочная улица, 23
Московский проспект, 172
Лесной проспект, 61, корп. 1
Лиговский проспект, 4
Загородный проспект, 35


в Интернет:

«Ozon» – www.ozon.ru
«Межкнига» – www.mkniga.ru
www.shop.gay.ru/books/

По вопросу оптовых продаж книг издательства «КОЛОННА» обращаться в ООО «БЕРРОУНЗ», телефон 095-104-68-36

Илья Масодов СЛАДОСТЬ ГУБ ТВОИХ НЕЖНЫХ

Издательство ООО «КОЛОННА пабликейшнз»:
Россия, 170024 Тверь, а/я 24001
Формат 60 X90/32, объем 6,5 п.л.,
подписано в печать 21.05.2005 г. Гарнитура GaramondC.
Тираж 1000 экз. Заказ № 12099
Отпечатано с готовых диапозитивов в
Старицкой Районной типографии.
Тверская обл., г. Старица, ул. Ушакова, 12




ISBN 5-98144-054-6

Я вижу, как холодной зимней ночью, уютно устроившись в свежевыкопанном гробу, ты начнешь неторопливо перелистывать страницы этой милой книжечки, периодически вонзая свои острые зубы в шею лежащей рядом синеватой девочки с пионерским галстуком на плечах.

Журнал «Хулиган»

…А мне снились иногда очень, очень страшные сны. Однажды мне приснилась… огромная чёрная… птица, размером с дом. Она нагнулась ко мне своей мордой, такой волосатой, что не найти было глаз, и дохнула на меня из клюва, а дыхание у неё было ледяное, как руку в прорубь сунуть. Вообще-то это была вовсе не птица, а что-то другое, не знаю что. У неё морда была какая-то не птичья, какая-то…

Почему он тебя не сожрал, с ненавистью подумала Катя. Почему он не расклевал тебя в кровавую кашу.

Ольга Матвеевна вцепляется зубами в немного подгоревший кусок. Она грызёт его с хрустом и тихим чавканьем.

– Вот ведь невинное существо, – говорит она, проглатывая и снова начиная грызть. – Я имею в виду, она ещё и с мальчиками не спала. У Надежды Васильевны, например, мясо, я думаю, жирное и воняет. Ты как думаешь? Возьми, попробуй. Катерина!

Катя смотрит на мясо и отворачивается, потому что её снова начинает рвать.

– Ну и противная же ты, – с досадой кривится Ольга Матвеевна. – Вот же чучело.

– Я, правда, не могу, – выговаривает, наконец, Катя.

– Тебе что, Настю жалко? Ты с ней дружила?

WWW.KOLONNA.ORG

Илья Масодов сладость губ твоих нежных